

Калихан
Искаков



ЛЕГЕНДА О ЗЕМЛЕ БЕЛОВОДЬЕ

Роман

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

3

Он не женился до двадцати лет, упиваясь свободой холостяцкой жизни. Беспечность, легкость, артистизм души были дарованы Шерубаю природой. А может, богатства отца позволяли ему шалопаичничать? Вороних он седлал, бывало, парами – на одной гарцевал, другая была на подхвате. Изощрялся, короче, как мог, ища удали и развлечений. Но не свихнулся, не сбился с пути. И что характерно: к богатству в нем не было жадности, он никогда не гонялся за ним. Потом он бежал из родных мест и тридцать лет скрывался у ойманов. И все тридцать лет тоску по родине глушил он песней, она была для него живительной влагой, водой родника, что беззвучно струился у подножия отчей горы Кокжота. Ему утешением была свирель, тростинка, сыбызги, что тихо плакала мелодиями кюев, сотканых из воздуха родного края. Так что теперь, когда под этим единственным небом твои же сородичи поют тобой любимые до дрожи песни, ты сбежал от них в юрту и лежишь в одиночестве, уставившись в крохотный, с ладонь, тундык? Быть может, это старость? Да-да, владения старика – не просторы джайляу, а лоскут тундыка, сквозь который если и увидишь небо, то оно будет величиной с пеленку...

Асем трижды входила в юрту, меняла влажную тряпку, которой была перевязана его щиколотка. Она не хотела от него отходить, а он не хотел, чтобы она оставалась в стороне от веселья. Он гладил ее по располневшему животу, по тугим теплым бедрам:

– Иди, иди... я побуду один.

Просил у Господа сына, а у него их, слава Богу, четверо. Дочь выросла. Красавица. На выданье... Чего еще желать? Сейчас он не думал о домашних. И вообще – он ни о ком не думал. Он уже не досаждаёт молодым, не лезет к ним со своими мудрыми советами. Живите как хотите!.. Человека, из которого выйдет

Продолжение. Начало в № 8–10, 2023.



толк, видно с рождения. Поступаешь по уму – хорошо. Дурь прет из тебя – ну-ну, значит, тебе на роду так написано. Он взял за правило не тянуть к себе того, кто пятится, а напротив – отодвинуть от себя его подальше...

Так он лежал, неотрывно глядя в тундык, и не заметил, что кто-то вошел. При трепетном свете огня в очаге он узнал обладателя кривого носа.

– Ты?

– Я.

– Это хорошо... Видишь, циновка висит? Пошарь-ка там. Рука кюйши – рука ловкача. Авось найдешь чего-нибудь.

Нашел он там бутылку коньяку и две пиалушки в придачу.

– Приказ директора – закон: с выпивкой надо завязывать. А если хочется? Ведь и свинье положен праздник. Ну что он с нами сделает? Опять в Сибирь сошлет? Наливай! – на слове «опять» Шерубай сделал особое ударение. Видать, ему пришлось по душе приход Асхата. Лица его Асхат не видел, но судя по голосу и порывистым жестам, старик рад гостю.

Было слышно, как Бескемпир затеял с женщинами перепалку. Нейдется же человеку! Как жеребец в охоте лезет на рожон. Теперь не уймется, пока по мордам не получит. Там явно не было Сигата – видать, исчез вместе со свитой. Теперь понятно, почему пришел сюда егерь: он в том веселье чувствовал себя чужим.

– А что это ты собираешься делать? – возмутился Шерубай, глядя, как цедит Асхат себе в пиалушку напиток. – Это коньяк, а не глазные капли.

– На большее я не способен, – развел руками кривоносый егерь.

«Ну-ну...» – одобрил про себя такое поведение старик. А что, у этого сучка кривого есть упорство. Видать, носом своим он, как узловатое дерево, непросто продирался к солнцу.

– Есть байбише, чтоб кочергой ширять в огне?

– Была, – ответил Асхат. – Да сплыла.

Ну, это сразу видно. Нынешние снохи не очень-то ширяют кочергой. И не дают по кочерге скучать, горячей головешкой затыкая зад мужа. Видать, допекла его баба, иначе не вынес бы мужик одиночества. Да еще на чужбине.

– Махорочки бы мне...

– Увы, Шер-ага, у меня – сигареты.

– Нет, не годится. По нашей глотке луженой да по ноздрям годится разве что сакар¹. Фронт приучил. А фронт, брат, не шутка.

– Вы были разведчиком?

– Э-э, кем я не был! Пастухом, разведчиком, связным... С пастухов начал и, даст Бог, пастухом закончу.

В юрте щелкнуло – залетевшая Асем включила свет.

– Убери! – поморщился Шер-ага. Резкий свет электролампочки раздражал, лишал уюта.

– Да вы же тут голодные сидите! – всполошилась Асем. – За день этот деверь ни крошки не съел. Я вижу, вы в еде не уступаете друг другу.

– Медведь одну лапу сосет, да всю зиму сыт живет, – усмехнулся Шер-ага. – Вот и егерь подтвердит.

– Тоже мне – медведи...

¹ Бурьян, из которого варят щелок, поташ.

А с другой стороны, если баба рысцей не будет бегать вокруг дастархана, откуда ж ей взяться, еде? Асем вприпрыжку понеслась к казанам и принесла на блюдце две бедренные кости, сочившиеся мясом, а к ним подала два ножа и бутылку белоголовки.

– О! А эта кокетка откуда? – уставился на водку Шерубай.

– А что – мы хуже других? Как все, так и мы!

– Как все... – проворчал старик. – Быть как все – значит быть в стаде.

– Твое дело – привередничать, мое дело – тебя ублажить. Белоголовая мешает тебе, нет? Так пусть стоит, – при этом Асем поменяла старику посуду, коньяк поставила перед Асеке и убежала, чтоб не мешать мужской беседе.

– Из какого рода женгей¹?

– Да здешняя она. Сирота. А выросла у моего очага. Ну, это особая история, – старик нарезал лепестками мясо и ворохом положил его перед егерем, даже тут никак не обнаружив, что левая рука покалечена. – У тебя-то все живы-здоровы? – дескать, кроме жены, получившей отставку, у тебя еще есть родня?

– Сказать «да» – не осмелюсь, сказать «нет» – не могу. Старушка-мать, а при ней мой щенок единственный...

И это Шерубай предполагал. Если человек вконец не сдурел, не превратился в перекасти-поле, он не станет бродить по белу свету, коли где-то родительское сердце о нем не тревожится, коли он сам не рвется в тот дом, где горит огонек новой маленькой жизни, которую ты зажег на земле. А иначе... иначе чужбина уже не чужбина, и ты вырастаешь в нее корнями. Или ты конченный человек.

– Если падать – так с верблюда, а если жениться – то на ханской дочери. Так говаривал один мой дядюшка. В роду нас немного, и все – поперечные. Даже на кобылу садимся задом наперед. Знай, мол, наших!.. А дядюшка, тот был охотником, и до тридцатого года жил отшельником в глухомани, в тайге. Какое было у него богатство? Лошадь, ружье да собака – все это в единственном числе. И дочь была – тоже одна. Собственно, долю, полученную в отчем доме, он отдал дочери. Правда что, сам тоже сумел приумножить свое стадо. Число овец, к примеру, он довел – подумать только! – до трех. М-да... Охотничье счастье переменчиво. И вот как-то в сумерках идет он с охоты домой. Причем идет с пустой торской. А навстречу ему – жена: «Беда! Единственный ягненок подыхает». Дядя был, конечно, философ: коли есть скот, без мора не обойдешься. Зарезал ягненка. На другой день жена снова к нему: «Единственная ярочка сучит ногами». Что ж, решил мудро дядя: раз есть скотина, есть кому и подыхать. Прирезал и ярочку, но съезжать с займки и не думал. А тут на третий день жена опять: «Последняя овечка уже перед окотом и тоже – вот-вот околеет». – «Не горюй, – отвечает ей дядя. – Теперь уж мор кончится наверняка». Мудрый был человек. Но даже у него терпенье лопнуло. Заколол он овцу, по-быстрому собрал весь скарб и – подай Бог ноги. На расстояние выстрела отъехал от займки, обернулся назад, приложился к ружью, да как бабахнет. В трубу целил: «Проклятый склеп! Овцы передохли – очередь за мной». И ушел. Так-то вот.

Интересно, к чему это он рассказывал? Там был, наверное, какой-то тайный смысл, но в чем его суть? Асхат расспрашивать не стал. И все же что-то в голосе рассказчика царапнуло за сердце. И надо было дальше рассказывать, но то ли чрезмерная грусть была тому причиной, то ли невеселые воспоминания шевель-

¹ Форма обращения к жене старшего родственника и вообще – к женщине старше себя.

нулись в душе, но Асеке не стал понукать рассказчика, решил остановить его на полпути. И вроде как уйти собрался.

Старик вздохнул:

– С молодыми тягаться мне трудно. А сверстников... их почти не осталось. Фронтовики-ветераны повымерли. Один я тут... вроде сухого дерева в подлеске. А ты иди, не убивай напрасно времени рядом с дряхлой гнилушкой.

Нет, не хотелось Шерубаю, чтоб егеря уходил. Хотя... какое дело табунщику до малознакомого егеря, что бродит по тайге? Да и егерю тоже вроде бы дела нет до какого-то там табунщика. Впрочем, что там темнить, знали друг друга они понаслышке и чуяли оба родство своих душ. Оно порой важнее, чем родство по крови. Что знал Асхат про старика? А то, что на одном из праздников все три его коня на скачках получили первые призы. И все? А ведь у старика – своя судьба, свой нрав, свой голос. А я не знал его, ходил по тайге, считал лягушек, червей да букашек, а человека-то не разглядел. Он чуял, конечно, хоть Шерубай и говорит ему «ступай, уходи», но глаза его просят остаться. И остался бы, да не хватило духа. Чем он займет старика? Игрой на домбре? Но Асеке уже понял: старик, ценя музыку, не будет слушать его все. Он как Бог: молитву сотворил, и не лезь к нему больше. Сегодня хотя бы.

Он капнул в глотку коньяк, что держал в руках в продолжение всего разговора, и тихонечко вышел из юрты. Шерубай осоловел, он дремал будто беркут, один на один с этой ночью, с неслышным течением времени, в котором кроется поступь судьбы.

Когда он бежал из родных мест, Ойман был тем краем земли, дальше которого бежать не имело смысла. Он прибил к олениводам-кержакам по ту сторону Катуня. Был он для них без роду, без племени, к тому же гол как сокол. Он был в масть кержакам, таким же ясноглазым и рыжебородым. Имя его Шерубай они переименовали по-своему – Шурбай. Отца его звали Сапа. Сгодилось и отцово имя, оно дало фамилию Сапанин. Его не стали расспрашивать, откуда он родом да как сюда попал. Мужик годился в работу, а это главное, это было для них важнее всех документов и анкет. Это уж после, когда сюда пришла власть Советов, бумажка стала важнее человека...

Зима была на носу, надо было загодя запастись от грядущих морозов. И он, несчастная головушка, привыкший к теплу и воле войлочного дома, не зная, как рубить избу, вынужден был рыть землянку. Ну и прозвали его «копай-город». В его новом житье-бытье было одно преимущество – вода питьевая под боком, воды хоть запейся. Весной, в половодье, во времена разлива, река ломилась в дверь землянки. Зимой, в любую стужу, у входа намерзала наледь, а после буранов избы по маковку, по самые трубы были в снегу, так что соседи друг друга откапывали. А все одно: она хоть и землянка, да лучше могилы, а по сравнению с тюрмой, которая ему светила, не сбеги он из дома, землянка та и вовсе рай.

До кержаков Советская власть добралась – дотянулась к 1928 году. В светлое будущее кержаков пытались загнать не из-под палки даже – из-под штыка. По-наехало красных отрядов видимо-невидимо, и с помощью декретов и винтовок стали им, кержакам неразумным, объяснять, как жить им дальше. Кержакам те объяснения пришлось не по нутру. Кто богаче, в Китай драпанул, а те, что победнее, заупрямились: они и в Китай не рвались, не стремились – что они там позабыли? – и тут они хотели жить так, как жили раньше, лет сто или двести до

Советской власти. В общем, между мужичками и новой властью произошел конфликт. Власть оказалась сильнее, несогласных она перещелкала, а вдов и сирот согнала в коммуны, чтобы наглядно показать, какое оно – всеобщее счастье. Конечно, вся эта затея лопнула, потому как вдовы и сироты – это так сказать, рты, а нужны были рабочие руки. Где они? На том свете... Приехавшие из Москвы спецы начали заново, уже на научной основе, организовывать хозяйства по разведению оленей и маралов. До них здесь были крепкие хозяйства, но их владельцы, когда смывались за кордон, племенной скот перебили, а то, что осталось, разогнали по безлюдной тайге. С грехом пополам стадо все же удалось собрать – где-то около ста голов, это молодняк вместе с быками и матками. По уму оно бы надо работать, но в тайге бесчинствовали банды, а это уже непорядок, в чем Шерубай Сапанин был глубоко убежден. И отстаивая свою убежденность не словом, а делом, он даже вышел в активисты. Свою тоску по отчужденному краю на всякий случай скрывал, и вообще старался не смотреть в ту сторону, откуда был родом – к нему прицарапались бы вмиг. И лишь во сне отделаться не мог от наваждения: во сне проступала из дымки гора Кокжота, она как ясное видение вела его сквозь все превратности судьбы, спасала от отчаяния, давала силы жить. И, наверное, в тот вещий миг, когда смерть коснется крылом его глаз, последнее, что он увидит в этой жизни, будет желанная, родная Кокжота...

Если бы его спросили, много ли он видел бед, он мог бы такое рассказать, что на десяток жизней хватит. Зачем? Кто поверит, что этот крепкий цветущий старик с избытком нахлебался лиха? Лучше об этом помалкивать.

Когда кержак Шерубай Сапанин в 1937 году, скостив себе десяток лет, ушел в армию, он был уже не первой молодости. Шесть лет под ружьем, и все шесть лет верхом на лошади. А коли взял в руки ружье, поневоле придется стрелять. В кого? Ну это не твоя забота. Конечно же, то были бандиты, дезертиры, воры. Не только он в них стрелял, но и они в него. Жизнь – не прогулка верхом от нечего делать. Жизнь – полная опасностей дорога... И, бог ты мой, как много в той дороге зависит от коня!

Ему достался для начала Халкин-Гол. Здесь не годились ни дончаки, ни рысаки, ни все прочие кони элитных пород. В безводных и скудных степях самой выносливой и надежной оказалась низенькая, очень уж неказистая монгольская лошадь. Ноздри огромные, дышит как паровоз и, когда мчит наметом, то, как собака, не потеет. В степи ее не заметишь, с землей сливается, и, если надо, идет неслышно, будто кошка. И в то же время – вроде ишака, не требует особого ухода. Одно неудобство – ноги у всадника чуть ли не по земле волочатся. Причем верхом на ней хоть саблей размахивай, хоть из ружья пали – равно удобно. И еще одно свойство: упал седок – пока снова не сядет верхом, она рядом стоит, шагу не сделает в сторону. А за неделю, бывало, надо отмахать без отдыха километров пятьсот. Там, конечно, была заварушка. Но ему не столько война запомнилась, сколько лошади. Не будь тех надежных лошадок, едва ли он уцелел бы на Халкин-Голе... Но – уцелел. И в сороковом году, отслужив, снял гимнастерку, опять принялся пасти оленей. И посреди той пастьбы женился на Шуре Прохоровой. Правда, в скит не ходили и святую брачную воду не пили, но несмотря на это у Шуры родились два сына-близнеца. Шерубай едва ли остановился бы на этом, но в сентябре сорок первого он опять оказался в кровавой баньке, в строю семьдесят пятого Гвардейского кавалерийского полка. Два года не снимал гимнастерку, два

года не слезал с коня. Правда, кони под ним не выдерживали. За два года пришлось сменить шесть лошадей... Они ему жизнь сохраняли, они ему были оберегом от пуль. Он попадал в немыслимые переделки, но – лошадь под ним погибала, а сам он оставался невредим. Он как язычник молился коню.

В полку связными были два казаха, один из них – Шерубай. Зимой ездил на белой лошади, летом – на вороной, причем без единого пятнышка. Полк в атаку выступал только ночью. Шер-ага не знает другое животное, чтобы в безлунную ночь, когда ни зги, оно могло бы столь безошибочно ориентироваться на местности, двигаясь бесшумно, как сова, за версту чуя шорох, донесенный легким дуновением ветра. Если кого убивали в седле, Шер-ага был уверен – лошадь тут ни при чем, это вмешивались злые силы, которым лошадь противостоять была бессильна. Приходилось и наступать, и отступать, когда отступали, он садился задом наперед в седло и брался за винтовку. А когда гнал врага, давал волю сабле. Но никогда во время отступлений не позволял себе дергать поводья и не натягивал их во время погони. Он даже мысли не допускал, что может погибнуть верхом на коне.

Воронеж они дважды занимали и дважды отдавали немцам. Было дело, прихватили ночью фашистов – те драпали голышом, без штанов. Они и бесштаные были ему ненавистны. Он прошел бесконечную вереницу русских деревень, сожженных дотла, лишь трубы торчали. Лошадь не к чему было привязать. И в каждом дворе окоченевшие трупы. Дети, женщины, старики. Хоронили их без отпевания. Вместо колокольного звона бухали пушки, вместо молитв был посвист пуль по врагу. Шер-ага никогда не хвастал тем, что убивал людей, пусть даже это были фашисты. Он не вел подсчета убитым, ему и в голову не приходило такого. Он просто выполнял тяжелую кровавую работу войны, не думая о том, что это героизм, не требуя платы, не ожидая наград...

Но даже среди смертей и крови, уснув на привале или в затишье, задремав на дне окопа, он видел один и тот же сон: вершина Кокжоты, что подпирает небо, и он сам на той вершине, его лица касается чистейший ветер, а у ног, сколько хватает глаз, тайга. Ирония судьбы была в том, что на войне во сне ему снилась желанная высь Кокжоты, а сейчас у подножия Кокжоты ему снится война. Там, на войне, ощутив во сне горные выси, он просыпался бодрым и по-своему счастливым. Сейчас, увидев во сне войну, он просыпается разбитым, с неимоверной тяжестью на сердце. Порой ему снится атака, он кричит «ура!» и просыпается, задрвав вверх покалеченную руку. Иногда ему снится, будто он волочит окоченевшие трупы, чтобы предать их земле, и просыпается, напуганный своими же слезами...

...Перед глазами – колючая проволока. На ней качаются каска и рукав шинели, в котором, возможно, есть и рука. Это все, что осталось – от кого? Бог его знает. От того, кто не сумел одолеть колючую проволоку. «Без вести пропавший». Почему же – «без вести»? Вот она – весть: каска в колючей проволоке и рукав шинели, оторванный вместе с рукой... А по ту сторону проволоки земля засеяна лепешками, они лежат под слоем грунта, но это не лепешки к дастархану, дарующие нам здоровье и сытость, это железные гостинцы, сокращающие дни нашей жизни, и называют их – мины. Колючая проволока, железная лепешка – гибель для кавалерии. В той колючей смертоносной стене – единственный узкий проход, сквозь который должен пройти весь полк. Но кому-то пройти не судьба, для кого-то здесь таится гибель...

...Он понимал, что спит, что все это во сне, но сну тому не мог сопротивляться. К нему пришел отец-покойник. Поздоровался за руку. А был он в черных перчатках. И когда та рука в черной перчатке пожимала ему ладонь, он почувствовал, что у него отрывают два пальца. Боль была нестерпимой, а отец отвернулся от него и стал уходить. Шерубай закричал ему вслед. Отец не остановился. Лишь сказал: «Это не пальцы. Это сыновья твои». Сказал и стал проваливаться в пропасть. Шерубай хотел удержать его и полетел вниз с вершины Кокжаты. Странно, как он не заметил раньше, что вел в поводу белого коня? Конь ржал, упирался, рвал уздечку. Рука запуталась в поводьях, он хотел высвободить ее. И с ужасом увидел, что коня уже нет, а над ним, над Шерубаем, занесена фашистская сабля. Он рванулся назад и вбок, но сабля вскользь задела его и отсекла два пальца... От боли он резко сел и проснулся. Дергая за поводья, рядом с ним стояла его белая кавалерийская лошадь. Она пугливо озиралась, а левая рука с намотанными на нее поводьями занемела и ныла... Он помнит, как задрожало проволочное ограждение и закачалась с тоскливым звоном запутавшаяся в проволоке каска. Страшная сила взметнула его вверх и с нечеловеческой тяжестью ударила оземь. В той атаке он лишился шестого коня. По сей день стоят перед ним полные слез глаза белой лошади. Вместе со слезами из черных бархатных глаз на черную землю по капле проливалась его живая душа. У него не хватило мужества выстрелить в эти черные бархатные глаза, искаженные мукой. Но в тот момент, когда он сорвал уздечку, лошадь испустила дух, а его левую руку пронзила режущая боль. Он посмотрел в сторону боли и вместо пальцев увидел кровавое месиво.

«Это не пальцы. Это сыновья твои». Сон оказался вещим.

После ранения он вернулся домой. Одна рука была покалечена. Другая зажила и, слава Богу, он мог ею делать всё. Опять сел на коня. Пас маралов. Делал посильную и всю непосильную работу, какую надо было делать. Хоть одорукий, но мужик. И мужик считай что один на всю округу. Рядом с ним была Шура – его любовь, его радость. Он не стал ее укорять, что не смогла она уберечь сыновей. Но чтоб не умереть от горя, она привела в дом сиротку, золотой огонечек, вот ту самую Асем, он даже не спросил, откуда она. Когда он уходил на фронт, он оставил жене свое седло. Седло не знало отдыха до той поры, пока он не вернулся. Лицо Шуры огрубело от ветра и солнца, от дождей и морозов. Но в глазах, в глубине, угадывалась надежда на возможное счастье. Она не отходила от него ни на шаг – ни на пастбище, ни на скотном дворе, стараясь быть ему верной помощницей. Он был с ней счастлив до последнего мгновения. Она родила ему дочь Сян, у нее хватило на это сил. Но у нее не хватило сил жить дальше. Перед тем как уйти от него навеки, она глазами указала мужу на малышку: «Если умрет, не горюй. Останется жить, ни в чем не отказывай». Асем же она сказала: «Не оставляй его. Оставайся с ним».

Что было дальше в жизни Шерубая? Боль, и безразличие, и горе. Он сам себе казался телегой: лошадь в него не впрягли, но с горы столкнули, и катится вниз она, тарахтя и сотрясаясь, и неизвестно, обо что она ударится на той неуправляемой дороге и где ждет ее последний удар перед тем, как она развалится вовсе?..

Опять он стал думать о родине. И чем больше он думал, тем яснее становилось, что, правдами и неправдами, ему надо возвращаться в родные края. Иначе жизнь не в жизнь, тогда уж лучше помереть. Он сказал об этом Асем. Они тогда еще не были женатыми. Отговаривать она его не стала, но дала совет: «Не спеши. Ты ушел беглецом – нельзя возвращаться бродяжкой. Обживись. Встань на ноги.

Роди сына». – «Как же я рожу его... один». Она ответила ему предельно коротко и ясно: «А я на что с тобой рядом?...» Наверно, Бог услышал те ее слова. Во всяком случае, в начале пятидесятых Шерубай целым кочевьем вернулся в родные места...

Что может желать человек, когда прожита жизнь? Достойной старости. Уважения. Чтобы близкие были счастливы. И чтобы не сожалеть о минувшем. Он и не сожалеет. Себя он тратил без пощады. На все. На любовь, на работу. Была война – он и здесь не праздновал труса. За все он заплатил сполна. Но много ли получил взамен? Войну прошел на боевом коне, вернулся с фронта – пересел на мирную лошадь. Стал скотоводом, но особого рода: не домашнюю скотину опекал, а дикого таежного зверя. Казаху важно что? Количество копыт. А он считал рога. Доярка удои замеряла, а он рога взвешивал. Ради этих рогов он объездил полсвета, чуть ли не пешком протопал от Москвы до Владивостока. Не зря, видать, топал: орденов и медалей у него как на музейном стенде – не только за боевые заслуги, но и за доблестный труд. Он и на главной выставке страны со своими пантачами побывал, тоже пополнил коллекцию наград, причем самых высоких, там и золото есть, и серебро. И всегда-то он на виду, и всегда-то он впереди. И не потому что выскочка, а потому что не боится рисковать, а в минуту опасности – да просто в трудную минуту! – удар берет на себя. Но ты ведь стар уже, не по тебе такая отвага, сказал он сам себе. А может, это и есть – достойная старость? Не прятаться за чью-то спину, брать груз ответственности на себя. Ну, это пусть оценят люди. Перед самим собой какой смысл хорохориться?..

И все-таки покоя не было. Нет, в самом деле: что оставлю я после себя в этом бренном мире? Детей? Ну, вырастут дети. Конечно, я сделаю все, чтобы они стали хорошими людьми, но где гарантия, что так оно и будет? Господи, сколько же я знал добрых, славных людей, дети которых становились подонками, не давали отцу-матери спокойно умереть... Вот оно: спокойно умереть. Достойно умереть. Нет, чушь какая-то!.. Выходит, смысл твоего бытия – всю жизнь себя готовить к смерти? Это что же: смерть тоже цель?! Тьфу ты, ей-богу! Ведь эдак на ночь глядя можно забраться в такие дебри, что до утра не выберешься на дорогу...

– Ты что – совсем сдурил? Во сне плюешься!

– А ты чего ушла оттуда? Там весело...

– Замерзла. Вот и ушла.

– Если замерзла, опусти кошмы.

– Да я их когда еще опустила!

– А дети где? Где дочь?

– Чего им, детям? Веселятся со всеми. Детей он потерял... А меня ты не ищешь?

Шерубай притянул к себе жену, плотно прижал ее тугое, спелое тело и жилистыми, твердыми, как бревна, ногами раздвинул полные икры своей токал.

4

На слет скотоводов семейство Шерубая прибыло на пяти лошадях, вернулось – на двух. Асем с младшеньким увозила со слета юрты. Так что когда Шерубай добрался до стойбища, главная юрта уже была поставлена, и самовар попыхивал, поджидая хозяина. Живности возле юрты – никакой, разве что теленок бодался с колышком, к которому был привязан, да три собаки, заприметив его еще издали, кинулись хозяину навстречу, с радостным лаем покрутились вокруг его лошади и ринулись назад просить суюнши у хозяйки.

Старик был встревожен, сердце чувало что-то неладное.

– Где дочь? – спросил он Асем, едва та взялась за поводья его лошади.

Вопрос прозвучал будто окрик. Асем растерялась:

– Откуда мне знать? Я-то верхом на кастрюле, а она, как-никак, на коне...

Шерубай вырвал из рук Асем поводья, с лошади слезать не стал, вопросительно уставился на своих пацанов: ну а вы, дескать, что скажете?

Тот, что постарше, промямлил:

– Она это... с тем уехала.

– С кем это – «с тем»? – набросилась Асем на сына. – Да говори же – кто он? У него что – ни имени нет, ни фамилии?

– С бородой он. Лесхозовский. Да он был у нас, был...

– Господи, сколько ж у нас тут их перебивало, с бородой и без!.. Зовут его как? Ну, припомни. Что молчишь? Язык проглотил?

– Ружье носи, – приказал Шерубай. – И бинокль.

– А ружье зачем?

– Неси, говорю!..

Земля изнывала от зноя. Не по душе была Шерубаю нынешняя жара. Три года подряд стояла засуха, и он надеялся, что следом придет год барса. Но где там! Одна лишь кратковременная гроза с градом, она смочила землю да и только. И это за всю весну и за два летних месяца! Слава Богу, тайга сама себя увлажняет росой, утром и вечером, и, как-никак, в густых зарослях влага держится. Копыта коня, продираясь сквозь густые травы, становятся красными, будто кровь ступает по крови. Земляника... Сколько ж ее уродилось в этом году! Ее аромат кружит голову, и в такие минуты веришь с трудом, что здесь бывают трескучие морозы, затяжные метели и сугробы, в которых можно утонуть.

Два ружья встретились у холма Актотмар. Издалека ему даже показалось, что это Сян. Под всадником был тоже белогривый конь, но сам всадник оказался бородатым парнем, громадным и рыжим. А белогривый и тоже рыжий конь напоминал лису. Красивый был шельмец, на загляденье. Бородачом оказался охотник Василий из Аксу.

– Ассалаумагалеюкум!

– Удачи тебе!

– А вот удачи как раз и нет, аксакал. Пантач сбежал из загона. Три дня, язви ты в душу, мотаюсь по тайге. И лишь разочек помаячил он в пяти километрах. И все. Вы случаем его не видели?

– Нет, не видел. И я кое-кого ищу. Парень с девушкой тебе не встречались? Они должны в сторону поселка ехать.

– Не встречались.

Шерубай недоверчиво посмотрел на Василия. Василий недоверчиво посмотрел на Шерубаю. «Темнит», – подумал Шерубай. «Говорить не хочет», – подумал Василий. И тут же задался вопросом: если старик ищет парня с девушкой, то зачем ему понадобилось тащить с собой двустволку? Поди, не воры и не бандиты те, за кем он гонится?.. Они потоптались какое-то время, вроде как не могли на узенькой тропе разбехаться, а сами исподтишка поглядывали друг на друга, пытались утвердиться в своих подозрениях.

– Пантачу сколько лет? – деликатно спросил Шерубай.

– Четыре года.

– Так он далеко не уйдет. Он кроме Аксу ничего и не видел.

Старик знал: у оленей привычка в жару отдыхать на северном склоне, да поближе к хребтинке горы, а к заходу солнышка они возвращаются на южную сторону, да пониже, где гуще трава. Василий, как скотник, должен бы все это знать, но, видно, он охотник никудышный, иначе три дня по тайге не бродил бы из-за такой зряшной заботы. Стоило ему подумать о пантаче, он забыл о собственном деле, все его внимание переключилось на поиски бычка, он направил вороного на склон Актомара, махнув охотнику, мол, следуй за мной.

Подъем на вершину Актомара крут, не до разговоров. Южный склон был каменистым, северный – в зарослях, на вершине – проплешь, и когда до нее доберешься, такой простор открывается, будто поднялся на самую что ни есть верхушку мира: впереди опять же восседает Кокжота, как бы не желая уступать свое почетное место в горах Алтая, а вокруг Кокжоту обступили вершинки поменьше – Таскурке, Кокала, Айгыр, Шагиты. Олень пастбище, окружённое изгородью, отсюда казалось невысказанно далеким и выглядело совсем уж крошечным лоскутом земли.

Нет, все же Василий – хреновый охотник. Конь у него красив, как лис, но раскормлен, как боров, и в ходу совсем слаб, ноги – тоньше некуда, грудь узкая, ноздри будто норки – чем он дышит? А задница широченная – шире некуда. Как он, бедняга, таскает ее по горам? Видать, для Василия ухаживать за конем – значит пичкать его без передыху. Конь и теперь, корячась на дрожащих ногах, роняя пот с мошонки, жрет не переставая дикий горох, хватая его отовсюду, куда может дотянуться его неразумная морда. Вороной, в силу воспитания своего не имевший привычки пастись когда попало, пить сверх меры и не вовремя, всего-навсего слегка вспотел, и то в тех местах, где была подпруга. Он лишь грустно вздыхал, глядя на белогривого, напропалую лопавшего горох, но сам не сорвал ни единой травки.

Шерубай долго смотрел в бинокль, шарил взглядом по холмам, по зарослям кедрача на противоположном северном склоне, и вдруг бинокль замер у него в руке... Серый с подпалинами олень, как ни в чем не бывало, стоял прямо перед ними, на скале, и лениво доил верхушки кустов. На красной бархатной поверхности скалы, поросшей лишайником, он стоял как напоказ и под розовыми лучами солнца был скульптурно красив, будто и его изваяли вместе со скалой все из того же красного камня. Он не подозревал, что его погибель рядом, что таится она в берданке, торчавшей за плечом охотника.

– Не вздумай стрелять с большого расстояния, – предупредил старик. – А рога подходящие, килограммов пятнадцать, – он сумел походя, на глазок, прикинуть, сколько весят рога оленя.

– Вот зверюга, язви ты в душу, – голос охотника был хриплым, в нем слышалась алчность мясника, и Шер-ага в какой-то миг даже раскаялся, что вывел охотника на оленя.

А Василий надолго задержал в руках бинокль, рассматривая и переворачивая его, как у прилавка магазина. Его удивила дарственная надпись на бинокле: «От важному разведчику Сапанину за особые услуги в борьбе с японскими захватчиками. От командующего войсками». Ему не хотелось выпускать бинокль из рук.

– И давно он у вас?

– Две войны отбарабанили вместе. Теперь вот вместе стареем.

– Да-а, мне бы такой, – посетовал Василий. – А странно, бинокль у вас отменный, с ним можно черта лысого выследить в тайге, а вы не можете найти двух людей, которые у вас под носом, – и, возвращая бинокль, он как бы невзначай повел головой в сторону поселка...

...Взлетевший на холм одинокий всадник стремглав ринулся вниз. Стук копыт, взорвав тишину безлюдного ущелья, казалось, обрушит слоистые скалы. Беспечно ехавшие по долине девушка и парень не успели и оглянуться, как одинокий всадник налетел на них коршуном. Он резко осадил коня. Лицо его было искажено яростью, а двустволка, казалось, готова сама палить по беглецам.

– Моли Аллаха, что не наступил твой час! Если бы дошла, куда шла, – Шерубаю было не до ораторских красот, – пристрелил бы на месте.

Шерубай ничего не стал объяснять дочери. Дочь ни о чем не спросила отца. Пристрелил бы – и basta! Бекету казалось, что если бы и раздался выстрел, то в него, в Бекета. Но не это его занимало, а то, что взбешенный старик и не глянул на него, не принял его во внимание. Даже на собаку он бросил бы взгляд. Бекет был для него – пустое место. А это царапало самолюбие, оскорбляло.

– Аксакал! Видит Бог, я ни в чем не повинен. За что же такая немилость?

– Спроси отца своего, Есимхана! – и Шерубай развернул вороного. – Яблоко от яблони недалеко падает.

Шерубай не стал дожидаться, что ответит ему Бекет. Да и что бы он ответил?.. А старик развернул лошадь, и даже затылок его дышал ненавистью. Бекет, пригвожденный к месту, не знал, что и думать по этому поводу.

– Счастливо оставаться! – Сян тоже внесла свою лепту. Сама улыбается, в голосе то ли ирония, то ли издевка. – Привет Аксу!

И она принялась хохотать, да громко, с бравадой и надрывом. Чокнулись, что ли? Взбесившийся старик налетел на них коршуном и тут же умчался, будто волки за ним гнались. Она туда же – поскакала следом...

И что они все на отца бочку катят?..

5

«Пристрелил бы на месте...» Это ж надо такое сказать... И в самом деле: пристрелил бы или нет? Слово – не воробей, вылетит – не поймает. А тут не воробушек – пуля... Нет, конечно, рука не поднялась бы на такое, но – попробуй вытравить это из памяти, попробуй забыть. Чем так-то мучиться, уж лучше пристрелил бы. «Если умрет – не жалею, живая останется – ни в чем не отказывай, не перечь», – не тебе ли было сказано это? Значит, так выполняешь ты волю покойной? И с чего ты взял, что дочь у тебя вертихвостка, что за ней надо гнаться сломя голову? Человек она взрослый, и куда бы она ни ушла, наверное, сумеет найти дорогу домой... Но ведь я сам когда-то говорил, что ни за что не переступлю Есимхановского порога и детям своим закажу и внукам обходить его за версту. Хотя... что это изменит? Да и кто он такой, Есимхан, чтобы помнить о нем? Тридцать лет я ношу в себе обиду и ненависть. Зачем? И при чем здесь сын Есимхана? Бог ты мой, когда я был в бегах, я даже собак тутошних готов был признать за родню. И разве думал я о Есимхане на фронте, среди смертей и крови? Так стоит ли сейчас считаться давними обидами, на них тратить жизнь?..

По звону уздечек, по шелесту копыт, что мяли траву, он чувствовал – спиной, затылком – что дочь едет следом. А вдруг она плачет? Нет, едва ли. Он никогда

не видел ее плачущей, тем более – не доводил до слез. И почему она там не осталась? А поверни она сейчас назад, не стал бы ее догонять? Ой ли не стал бы...

Он прихватил рукой двустволку, что была прижата коленом к седлу, с хрустом открыл затвор. Вот зараза! Она же заряжена. Ведь запросто мог бы убить... Когда же это его угораздило загнать в ружье патрон? Не холостой, а с жаканом. С тех пор как распростился с оленями, он всерьез не держал в руках ружья, а к охоте у него и вовсе не было пристрастия. Он зло отбросил патрон, от греха подальше... С молодости зарекался – не прикасаться к ружью. Время заставило. Самураи заставили. Потом фашисты. Но чтобы поднять ружье на собственную дочь!.. Неужели она так перед ним провинилась? Да, избалована, упряма. Сама теперь, наверно, кается.

Отца она боготворила. Тут сказало влияние мачехи, которая почитала мужа превыше всего на свете. Отец – он мухи не обидит. И дом у них был окутан теплом и любовью, никто никогда никого не хулил. И вообще Сян не верила, что в мире есть плохие люди. Несколько раз она порывалась пришпорить коня, поравняться с отцом, но не смела. Ей было не по себе. Ей было плохо. Она во всем винила себя и чувствовала, насколько она никудышный, дрянной человек. Ну что она такое в самом деле? Ни талантов особых, ни умения, ни ловкости. Хоть бы цель была какая-нибудь стоящая. Выскочить замуж – и всё... Ей было стыдно. Она была недостойна ехать вслед за отцом, она была недостойна жить под одной с ним крышей. Почему он не пристрелил меня? Он кормил-поил меня, обувал-одевал, лелеял столько лет, а я отплатила ему такой неблагодарностью.

В своем невольном сиротстве, не получив каких-то таинственных сил, что кроются в молоке материнском, она всегда испытывала жажду, ненасытность и жадность ко всему земному. В тринадцать лет, когда на нее впервые надели девичью одежду, она была унижена, потрясена. Свое девичество она восприняла как издевку природы. До тринадцати лет жизнь казалась ей праздником, веселым, озорным, таящим загадочную новизну. И вдруг обнаружилось, что жизнь – это будни, тоскливые, серые, а праздники редки, да и они порой оборачиваются обидой и унижением... Вчера на скачках она была последней. Стыд и позор! Когда Асеке свой приз, завоеванный им по праву, бросил к ее ногам, она всем существом своим поняла, как это важно, чтобы рядом с женщиной был сильный мужчина. И еще она поняла, что быть женщиной тоже непросто. Причем достойной женщиной. Нет. У нее не хватает на это способностей, что-то она делает не так. Вот и отец испереживался за нее. А появится рядом с ней муж – неужели она для него будет мукой?.. На празднике из всех мужчин лишь три человека были на равных. Во-первых, это, конечно, отец, его щедрость. Во-вторых, само собой, ее дядя, его душевная широта. А третий рядом с ними – подумать только! – кривоносый егерь. Ах, как он ее напугал: и уродством своим, и очень уж надменным видом. Поправить бы ему переносицу скальпелем, он мог бы стать вполне приличным парнем... Тут надо бы плакать, а на нее напал смех. Бекет вспомнился. Вот у кого дубленая шкура – любое издевательство вынесет.

Она знала, что в конце концов кто-нибудь из парней сделает ей предложение. Но, спрашивается, что хорошего в том, чтобы стать чьей-то женой?.. И когда вчера Бекет обнял ее и предложил ей руку и сердце, она и бровью не повела. Начнем с того, что он вызвал в ней ту минуту чувство неприязни, как давно изношенная и уже надоевшая вещь. Неважно, что он может потребовать от женщины, но: что он сам может ей предложить? Ведь ни рыба ни мясо. Ни гордости в нем, ни возвы-

шенных чувств. Холодный как ледышка. Да лучше обнимать чучело, чем такого мужчину. Как ей ударила в голову эта мысль, непонятно, но при словах «обнимать мужчину» она представила себе кривоносого егеря, хотя, конечно, ни о чем таком не помышляла. «Если кривоносый егерь не возьмет меня в жены, я выйду за тебя», – пообещала она Бекету. А Бекет возьми да брякни ей: «Ладно. Согласен». Нет, ну где самолюбие? Другой бы сумел ее поставить на место: если кривоносый от тебя откажется, то мне зачем ты нужна? А он на полном серьезе говорит: «По рукам!» И в тот же момент они решили отправиться к кривоносому, чтоб он расставил все точки над «и». Бог знает, чем все это закончилось бы, но тут их застукал отец. Догнал, отчитал и так далее. Выходит, опять бедный отец отвел беду от взбалмошной дочери, которая сама себя чуть ли не опозорила. Она думала, что Бекета окружают такие же толстокожие, как он сам: Жакупы, Мишели, Бескемпирь... Вчера, как гром среди ясного неба, на нее обрушилась новость: Бескемпир – двоюродный брат. Хотя потом, когда новость в душе улеглась, подумала, а ведь что-то подобное она чувяла сердцем, и то, что Сян тянуло к нему, было голосом крови. Родня как-никак! Невезучий он, правда. И хоть не такой, как другие, но... мужчина должен возвышаться над толпой, а нет – что ж, такому лишь посочувствовать можно...

Она ехала вслед за отцом, и вдруг увидела, как он ссутулился, как постарел. С чего бы это? Ей было пока невдомек: отцов старят дети... У него была привычка – спать верхом на коне. И судя по ленивому, замедленному ходу вороного, отец задремал в ту минуту. Хотя он и в полудреме, но все слышит, все видит, как она плетется следом, неприкаянная и виноватая.

Душный день июля, зноем разморивший кроны лиственниц, нехотя клонился к вечеру. Склон горы был залит предзакатными лучами солнца и был усыпан красными камнями. Но в тех камнях улавливалось движение. Это паслись олени и маралы. Вечерняя альпийская прохлада несла густой запах щавеля и хвои, освежала лицо, открывала второе дыхание и наполняла сердце свежей кровью. Шерубай пришпорил коня, будто окунулся в холодную воду.

У родника маячила единственная юрта. Огонь в очаге горел ровно и весело. Асем привязала теленка к колышку, отогнала корову на водопой и на время прикрыла тундук. Старик и дочь молча слезали с коней. После шумного праздника было непривычно тихо, и казалось, что вокруг юрты запустение, как на месте брошенного кочевья. И суета Асем, стелившей на траву половики, одеяла, подушки, ее подчеркнутое старание подальше от дыма разбросить скатерть, и нарочитое веселье старика не могли никого обмануть. Холодок тоскливого отчуждения витал над ними.

Шерубай сам накрыл попоной вороного и белогривого, дал им остынуть, послал за свежим конем старшего сынишку, но пацаны все трое, как щенята одного помета, ринулись выполнять поручение отца. А за столом остались двое. Торчали как два пенька на поляне. На ужин, кроме старика и самовара, Асем никого звать не стала. Чай был густой, со сливками, но пила она его без удовольствия, лоб не вспотел, не покрылся желанной испариной, и душа не расслабилась, не отмякла. Асем как опрокинула дном кверху пиалу Сян, так и не переворачивала ее. А это означало, что дочь твоя сегодня не придет за дастархан, я не велю ей прийти. Она всегда думала сперва о детях, потом о гостях, но тут нарушила традицию.

Проверять лошадей в сумерках каждый вечер выезжала Сян. Каждый вечер, но не сегодня. Шерубай молча оседлал пузатого рябого, взгромоздился верхом, поехал. В седле сидел старикашка, маленький, сгорбленный, щуплый. Асем как

бы впервые увидела, что его борик сплюснен и помят, что брюки из шкуры жеребенка стерлись, что он смертельно устал. И с трудом признав в удалявшемся всаднике мужа, токал впервые заплакала.

Когда старик уехал, у очага началась война, безмолвная и тихая, но грозная. То было сражение глаз и бровей, оно не уступало драке на соилах. Несмотря на неурочный час, Асем разобрала юрту девушки, поставила ее впритык к главной юрте и двери вывела не наружу, а внутрь: «Попробуй теперь выйти без спросу!». Она не сказала этого вслух, не разомкнула склеенных злостью губ. Сян и так все поняла.

6

Как они ему надоели, и дети, и жена! Нет, домой возвращаться не хотелось. Лошади были добрей и понятнее. И стоило ему очутиться посреди табуна, он тут же нашел массу дел, они отвлекли его, апатия улетучилась, и раздражение забылось. Пузатого рябого отпустил было без привязи, пусть волочит себе аркан, но бедолага был настолько смиренным, что поставь его возле мусорной кучи, он с места не сдвинется. И, сжалившись над конягой, Шерубай привязал его к тороке, чтобы тот шел следом. Он отыскал в темноте косяк вороных, они были его особой заботой. Воронье как-то повывелись, исчезли, он собирал их лет десять, довел до двадцати голов. А хороводил у них рысак, серый в яблоках, Шерубай купил его стригунком на конезаводе за двадцать четыре тысячи. Он рос жеребенком пугливым, шарахался от распоследней клячи, а нынче, смотри-ка, мало ему собственного косяка, лезет в соседний, ему там кобыла приглянулась, он силком ее покрывает, ведет себя неприлично до крайности. Бог знает почему, но воронье в потомстве сбилось со своей исконной масти, как бы полиняли, превратились в серых. У статных кобылиц-трехлеток стали полнеть зады, и Шерубай подумал, что их на следующий год надо бы покрыть черногривым саврасым кривоносого егеря...

Вот она где, настоящая жизнь!.. Будто разгадав намерения старика, к нему подошел серый, в яблоках, весь как на пружинах, он будто спрашивал ревниво: «Что, сватать пришел?». А был вроде бы вороным жеребенком, да таким беспомощным! Он кормил его с рук и поил молоком белой кобылицы, и с тех пор жеребец, завидев Шерубая, тянется к нему, мордой лезет в карманы, ищет гостинец. Эх он вымахал! Шерубай с трудом мог дотянуться до его узкой морды с подрагивающими ноздрями. «Каким же высоким ты стал, мой теленочек!» Стригун-сиротка, он, бывало, с телятами наперегонки бежал к ведру с пойлом, Асем и прозвала его теленком. Он и сейчас, когда грызется с жеребцами, лишь услышит голос Асем, сразу же кончает драку. Вежливости ради. Уважает хозяйку. Вот незадача, расстроился Шерубай. А я забыл сахарку положить в карманы – не до того, значит, было. Но серый в яблоках вроде как был не в претензии, он долго нюхал ладони старика, несколько раз мордой погладил его по плечу. И, в знак особого доверия оставив кучу навоза, ушел к табуну. Что тут поделаешь? Природа. Они испокон века рядом – казах и лошадь, они, наверно, друг для друга созданы.

Ломота в костях прошла, и он – вот уж вдруг! – затосковал по махорке, про которую давно забыл. Хоть бы разочек затянуться!.. И снова вспомнилось: всякий раз после атаки измотанные парни, окинув взглядом свои поредевшие ряды, затягивались самокруткой, чтобы горьким дымком притупить тоску и тревогу,

чутко успокоить нервишки. Даже там, в той баньке кровавой, не по лицам людей он ощущал всю остроту бытия – ликование победы и ужас смерти, а по глазам своей лошади и по ее тяжелым вздохам...

А небо так усеяно звездами, что некуда, поди, воткнуть иглу. Лишь серп шерба-того месяца, торчавшего ребром, рассекал густую россыпь звезд. С вершин Алтая потянуло ветром, и запах щавеля перебивал все ароматы трав. Шерубай любил ночное приволье – под звездами, среди гор. И сейчас, когда он остался один на один с необъятностью мира, душа его обрела покой и блаженство. Нет, с лошадьми хорошо. Это тебе не олени, что норовят сбежать из загона, не коровы, за которыми нужен глаз да глаз, не то потравят всходы. С лошадьми опасаться надо одного – чтоб не ушли они против ветра, прячась от жары. А так – до белых мух... Он мог бы не ходить сегодня в ночное, но тесно стало в юрте – от проблем, от забот, захотелось безлюдья, тишины и полного покоя. К тому же воры завелись в последние годы. Причем не одиночки, а целыми шайками ходят и косяками уводят лошадей. Им мало того, что они могут съесть, они крадут лошадей на продажу. Скотину гонят через Маркаколь, Тарбагатай и сразу – на Семипалатинск. Ловкачи хоть куда! Откуда-то берут поддельные документы и сдают табун на мясокомбинат. А не получится – по дешевке сбывают спекулянтам. Но воры не местные, у них и повадки нездешние, и запах чужой. Издалека приходят, кровопийцы. В одиночку с ними не справишься, только вертолетом можно их догнать, и перед ружьем они пока еще пасуют. Сколько помнит себя Шерубай, он не видел подобного. А он много чего насмотрелся за долгую жизнь. Случалось, на глазах хозяина его родимую скотину косили пулеметом, а Бухтарма и Катунь превращались в кровавые реки, и запах крови стоял по Алтаю. Но это в те еще, смутные времена. И чтобы в мирную пору да такой откровенный и хорошо организованный грабеж – такое ему и не снилось. Да что же это приключилось с человеком?! Где стыд, где совесть, и почему вместо глаз – полтинники, а вместо сердца – тугой кошелек?.. Опять он подумал про Есимхана, которого столько раз поминал нынче днем и гнал от себя о нем память, и вроде прогнал, а он опять явился среди ночи. Есимхан стоял перед ним будто воочию. Копна волос, как грива яка, зачесана назад. Резкий запах кожанки и одеколona. Улыбочка с издевкой. И как целую вечность назад, Есимхан подал руку Шерубаю – на, дескать, подержись! – а после ладонь протер одеколonaм...

В двадцать восьмом году, когда баев начали потрошить, Шерубаю стукнуло тридцать. Три тысячи лошадей или триста – какая разница! Была бы лошадь подомной да хрупкая свирель у губ, да эти вот просторы и жизнь, которой, казалось, конца не будет. Какие там богатства у отца, он никогда не считал. И не задумывался о том, что в тех отцовских табунах есть и его сыновья доля. Младший из братьев, Сигат – он учился тогда в Ленинграде – перед той великой компанией по «экспроприации экспроприаторов» приехал на побывку и втолковал отцу, что к чему.

– Значит, так. Оставь себе две лошади – верховую и дойную. Все остальное сдай – сам сдай! – государству. И не бойся. Советская власть не даст помереть с голоду. Да, тебя могут сослать, тут ничего не поделаешь. И никуда не спрячешься. Советская власть – она везде и всюду.

Отец не гоношился, не возражал:

– На что мне лошади, на что богатство? Да я одной ногой в могиле. Почет мне тоже никакой не нужен. Дай Бог лежать в родной земле. Только вы были бы живы-здоровы.

Сигат к тому времени уже вполне был грамотным, хорошо разбирался в порядках новой власти и в ее очередных задачах. Он за три года до той самой «экспроприации экспроприаторов», до великой конфискации в Казахстане сдал государству всю скотину отца, сдал излишки денег и каких-никаких ценностей. И не просто сдал, но получил взамен бумагу с гербом и печатями, которая вроде охранной грамоты. Он вручил ту бумагу отцу и снова укатил в свой Ленинград.

Во времена, когда счастлив был тот, кто богат, когда старейшина помалкивал, а бай говорил, зажиточность Сапы имела смысл, придавала словам его вес, а ему самому добавляла авторитета и уважения. К власти он не стремился, хотя претендовал на должность волостного. Был он грамотен, и по прежним понятиям – вполне прилично грамотен, но стать муллой не стремился и божьих путей не искал. При всем при том нос по ветру держал и смекнул раньше многих, что как бы ни был предан казах скотоводству, но в завтрашний день на лошади не въедешь, и сыновей обоих послал учиться. В Семипалатинск. То, что можно послать на учебу куда-то дальше и выше, на это у него просто не хватало миропонимания. А Шерубай сообразил, что есть иные горизонты. Сам он учиться не стал, погряз в богемной жизни, но брата младшего подбил уехать в Россию, чтоб тот набрал запредельную высоту.

А Сапа на выборах волостного среди своих земляков каратайцев дважды сумел обскакать неуча Есимжана – кстати, родственника, но сам не стал брать кнут власти, а заставил положить шары за Абдика, за недруга и даже кровного врага, но весьма гораздого болтать по-русски, причем очень даже бойко, за что вся так называемая знать рода Шонмурын от Сапы отвернулась. Но Сапа сумел этого самого Абдика послать к генерал-губернатору, Абдик влез к тому в душу, а в результате удалось добиться небывалого: они первыми среди найманов открыли русско-туземскую школу да еще с пансионатом при ней. Но это не всё. Сапа заставил Абдика построить постоянные дворы между Кульджой и Коктасом, между Уримжи, селением Дом и Куянды, взяв на себя часть затрат. Так называемая знать наотрез отказалась посылать своих детей в ту школу, боясь обрусения. Тогда Сапа дал Абдику совет: набрать учениками детей бедняков – в люди они, может, и не выйдут, но став грамотными, сумеют прокормиться. При этом едва ли они забудут, в какой стороне находится Мекка. Учителем определили ссыльного, из русских, за что учителей ссылали, смекнуть нетрудно. Абдик и Сапа вдвоем дали расписку губернатору, что берут учителя на поруки и несут за него ответственность. Самое грустное то, что одним из учеников смутьяна-ссыльного был Есимхан...

Революцию он понял по-своему – грабить баев, отнимать у них скот и нажитое добро. Впрочем, и все так понимали. Советская власть дошла до Каратая с запозданием, уже в конце двадцатых годов. А устанавливал ее один уполномоченный в сопровождении милиционера, тоже одного. Они попросту обошли все аулы и в каждом объявили новую власть. Им не очень-то возражали, врагов у новой власти в аулах пока еще не было, запугать смиренный, забитый и неимущий народ было нетрудно. Неграмотный люд как скотину привязывали к одной жели, при этом никто не смей пикнуть, а несогласных и сомневающихся Есимхан расстреливал на месте, без суда и следствия. Советская власть – она для бедных, а если человек сыт, да на коне, да одет не в лохмотья – то это явный враг советской власти. Народ обдирали как липку. В казну, конечно, ничего не попадало. Золото, серебро, дорогая утварь, добротная одежда – все мало-мальски ценное прибирали к рукам

проходимцы-грабители, а то, что ценности не представляло, а было отобрано из жадности и для острастки, никому не нужное сгнило. Есимхан с сотоварищами испоганил весь мир, но гордился этим, ходил в героях, был, что говорится, на коне. Скотину, отобранную у богачей, раздали беднякам. А поскольку она досталась им задаром, ее тут же пустили под нож – неровен час, раздумают, назад заберут. Потом нагрянули белые. Эти тоже были хороши – под видом того, что защищают казахов, они и грабили, и вешали, и убивали. Причем неповинных людей – есимханы от них улизнули. Но карта беляков была бита. Какой там защищать кого-то, сами себя защитить не могли. И тоже драпанули. И тоже не с пустыми руками – с награбленным добром.

А уж когда беляки ушли, представители новой власти опять вернулись – причем вернулись как законные хозяева. Теперь они пришли окрепшими, уже не в одиночку действовали, а целыми отрядами. А с ними пришла новая кампания – без этого они никак не могли. Коллективизация – им вдолбили это слово в башку, и они теперь его вдолблывали темной, несознательной массе. То есть опять принялись донимать вконец ограбленных и замордованных аборигенов. У крестьян отбирали последнюю живность, вплоть до паршивой овечки, вплоть до ягненка. Аулы пронумеровали, у них теперь не было названия, были номера: аул первый, аул второй, аул третий... Народ был бестолковый, он привык жить по отдельности, а в светлом будущем надо жить скопом, всем вместе, одним большим колхозом. Казахов, испокон веков привыкших жить на приволье, стали кучковать, сгонять к колхозы, приучать к оседлости. В неделю были построены войлочные поселки. Построить их оказалось нетрудно, но спрашивается, как жить в этом вонючем скопище? И в одну ночь поселки те исчезли. Народ не понимал советской власти, народ шарахался от есимханов. Народ наострился бежать за кордон. Есимханы, сабли которых не просыхали от крови, взбесились пуще прежнего. Они установили пулеметы на перевале – у входа и выхода, и когда беженцы потянулись через злополучное ущелье, тайгу с двух сторон подожгли. И уже не имело значения, куда люди бежали – вперед или назад, их с двух сторон поливали свинцом. Есимханы гордились удачей, будто врага уничтожили. Население двух волостей, наглотавшись досыта пуль, пришло в ужас. Крутые горные склоны посыпали золой, устилали их войлоком, только бы уйти за кордон от пахнущего кровью всеобщего принудительного счастья. Люди прятались по оврагам и горным впадинам, днем пугались всякого, кто был при ружье, а ночью шарахались от собственной тени. Имя Есимхана было у всех на слуху, от него стыла кровь в жилах. Вдоль берегов Бухтармы, Аксу и Катуня стояло затхлое удушье – запах пороха, одеколona, запах есимхановских кожанок...

...В июльскую жару, при которой сама собой закипала в казане вода, в долину Карагайлы загнали весь скот, какой удалось изъять у населения в районе примерно двухсот километров. Пока скот изымали, жеребье кобылы опростались, на жеребят напал понос, табуны необъезженного молодняка, не знавшие ни узды, ни курука¹, вконец обезумели. Стояла летняя благодать, но всем казалось – пришел джуг: собаки выли, людям было не по себе, в поймах рек Аксу и Бухтармы запахло смрадом. Есимхан и такие же, как он, умники отдали приказ: перестрелять весь скот, зараженный мандамом, а не подчинившихся приказу велено сажать в тюрьму. Тут же появились санитары, подтвердившие эпидемию незнакомой

¹ Петля на легком шесте для поимки лошадей.

раньше болезни, созданы были комиссии, узаконившие правомочность приказа. Растерянные Шонмуруны всем родом пришли к Сапе: помоги спасти скот, если не для нас, то хотя бы для Советской власти. И Сапа пошел к высокому начальству. Шерубай сопровождал отца как толмач. Тогда-то он и увидел впервые Есимхана, которым стращали малых детей.

Губчека находился в двухэтажном бревенчатом дворце. Шесть милиционеров во дворе, два – на карауле у дверей. Попасть сюда было труднее, чем в Мекку.

Два дня они ожидали приема. «Великий деятель» Октября и всей Советской власти на Алтае был похож на яка, приземистого волосатого самца. Он сидел за столом, небрежно развалившись, распаренный, красный, как после бани. Дал Сапе подержать свою руку: но тут же и протер ее одеколоном, как будто поздоровался с прокаженным. Вытащил пистолет, положил его рядом. Его хромовые сапоги блестели вызывающе и нагло. Накинув на плечи кожаную куртку, сидел, не уминаясь сытым телом в своих серых брюках и сером жилете. Грозно насупился.

– Ну, у тебя что за песня?

– Видите ли, я старый скотовод, я в этом деле кое-что смыслю. Так вот – наши лошади здоровы. Никакого мандама у них нет. Зря творите насилие.

– Всё?

– Всё, – старик поднялся, чувствуя, толку не будет. Но у дверей остановился: – Лошадь для казаха – это жизнь. А за жизнь готова драться даже малая пташка. Народ обозлился. Народ произвола терпеть не будет. Даже если это произвол Советской власти.

Есимхана едва нехватила кондрашка.

– Саботаж! – он стукнул кулаком по столу, вскочил с места, принялся выкрикивать слова-приговоры. – Арестовать! Расстрелять! Уничтожить его как мандам! – он даже ногами затопал.

Он походил на разбушевавшегося яка, гривастого сдуревшего самца, а глаза у него были козлиные, наглые. И от него резко пахло одеколоном и... Нет, не кожей – кожаменителем. Дерматинном. Иноземное словечко это поразительно близко исконно русскому слову – дерьмо.

Сапа, едва держась на ногах, ушел из той сторожевой будки, где обитали, он теперь знал, не люди – бешеные псы, готовые насмерть загрызть любого, кто им подвернется. Больше он к власти не обращался. А бедолаг лошадей скосила пулеметной очередью. Лишь пару вороных оставили – запрягать в фэтон, чтобы возить Есимхана, да десяток верховых коней для активистов. Так весь Каратай в одни сутки стал безлошадным. Ну и что? Как там у русских говорят: ни богу свечка, ни черту кочерга. Зато Есимхан отрапортовал: в двух волостях коллективизация – стопроцентная! Десятки лет спустя выяснилось, что никакой эпидемии не было. Просто, не найдя способа удержать народ, чтобы он не валил за кордон, решили уничтожить лошадей как единственное средство передвижения кочевников. Но к тому времени, когда это выяснилось, Есимхана и его команды след простыл. Большинство из них спилось и сгорело от сивухи, а те, что понаглей, поэнергичней, шагая по трупам, сумели набрать неподсудную высоту. Сам Есимхан все тридцатые годы ханствовал в алтайской тайге и лишь в сороковые годы слез наконец-то с тощей хребтины района. Оказывается, и Есимхану ничто человеческое не чуждо: потомством обзавелся и тоже, наверно, постарел. Интересно, мучит его совесть или нет? Если она, конечно, есть у Есимхана...

Шерубай не заметил, как заснул, а проснулся, напуганный грохотом целой лавины коней и пронзительным ржанием. Не сразу понял: то ли лошадей расстреливают из пулемета, то ли началась атака, и он тут же стал слепо шарить рукой, чтобы схватить свой автомат и махнуть через бруствер. Но ни автомата, ни бруствера не было, а был старый полусгнивший пенёк, на котором он, сидя, задремал и даже соснул на какое-то время. Только тут он врубился, отчего переполюх: пузатый рябой что есть духу носился вокруг хозяина, а серый в яблоках гонял его нещадно, всерьез заподозрив в нем соперника. Шерубай прикрикнул на серого. Тот все же успел разок-другой вонзить зубищи в круп пузатого, лишь после этого успокоился, занялся другими делами. Пузатый рябой подошел к Шерубаю и, как бы ища сочувствия, тяжело вздохнул. «Бедняга, вечно ты получаешь такие вот гостинцы, – пожалел его Шерубай. – Но ведь сам виноват: щипал бы травку рядом со мной, тебя никто бы не тронул. Так нет, полез на чужую территорию. Если бы не седло, он оставил бы на твоей холке свои зубы... А странно: почему это сильные всегда смирных давят? Наверное, у смирных кожа толстая, всё стерпят...»

В течение одной минуты он успел побывать и в тридцатых годах, когда бесчинствовал Есимхан, и в сороковых, когда бесчинствовали фашисты, и в сиюминутном отрезке времени, когда бесчинствовал серый в яблоках. И везде он успел, и та минута сна была равноценна отдыху в течение всей ночи, проснулся он свежим и бодрым. Серп ущербного месяца уже утонул в тайге, но Большая Медведица еще не поднялась в зенит. Стоял глухой час ночи. Он снова ослабил подпруги пузатого – пусть дальше набивает брюхо, и, поглаживая онемевшую культяпку, снова угнездился на теплом пне. Ему хотелось отогнать от себя картины прошлого, чтоб не мучили, как дурной сон, но они кружили вокруг него, как только что кружила эта кляча, ища защиты от зубов серого жеребца. Перед глазами неотступно маячила физиономия гривастого Есимхана с наглыми козьими глазами, и даже явственно чувствовался специфический запах одеколона с дерматинном...

...Наверное, он боялся, что утром старика не застанет дома, и потому пришел глухой ночью, когда все люди добрые спят. При нем было четыре вооруженных милиционера, хотя за глаза хватило бы и одного безоружного. Но, видно, шибко провинился перед Советской властью безобидный в общем-то старик, коли понадобился усиленный отряд милиции, чтобы взять старика под стражу. Есимхан и наган вытащил, чтобы уж действовать наверняка.

– Ну, а теперь что ты запоешь? – приступил Есимхан к делу. – Признавайся, сколько кибиток подбил против коллективизации? А скольких ты отправил за кордон?

– Ты, милый, или дурак, или родом так. Неужто у Советской власти все такие вот мордороты? – старик не собирался лебезить перед подонком. – Чего тебе надо? Посадить меня хочешь? Сажай. Расстрелять? Расстреливай. Сила есть – ума не надо.

Всё остальное было делом техники. Поспешно вытолкнув старика из юрты, Есимхан наганом указал на Шерубая:

– Берите и этого прихвостня. Жаль, остался на свободе второй щенок. Но ничего, и на него найдем управу.

Речь шла о Сигате, достать которого у Есимхана были руки коротки.

Разорив весь край, Есимхан и его команда раздали «войлочным поселкам» по мешку семян на каждую кибитку. Зерно есть было не велено, его было велено

посеять. А для этого надо было землю вспахать. Скотоводу, который землю никогда не пахал. Но дело даже не в этом. Как распахивать целину, чем? Голыми руками? Ведь и рабочий скот был тоже изъят... Что было дальше? Дальше был голод. Семенное зерно, естественно, съели – голод не тетка. Есимхан снова орал, что это саботаж, провокация и происки врагов. Людей опять сажали в тюрьмы, опять расстреливали. Ради грядущего счастья...

Там, где проходил Есимхан, и трава не росла. Откуда в нем такая озлобленность? Пусть бы он ненавидел богатых – он сам как-никак из бедняков. Но ведь он со своего, как говорится, брата, с неимущего драл три шкуры. Да, был когда-то край благословенный на Алтае – Беловодье. Слышал ли о нем что-либо Есимхан? Впрочем, после Есимхана о том крае забыли говорить не только молодые, но и старики.

В Карагайлы, где дома никогда не запирались замками, тюрьмы не было и в помине. Под тюрьму определили большой амбар бывшего кержацкого богатея. Сюда и заперли арестованных. Среди них не было ни контры, ни баев, ни биев – здесь была безграмотная голытьба, скотоводы их тех, что стали неудобны Есимхану. Тучный Сапа, которого с трудом носила лошадь, целый месяц лежал в том амбаре, ожидая решения суда. За этот месяц он не то чтобы исхудал, а словно размяк, истаял.

Есимхан по два раза в день вызывал его на допросы. Допрашивал сам. Может, и были другие следователи, но их никто не видел. Сапа хорошо понимал, что зазря человека не засудят, нужны улики, а их у Есимхана нет. Он вынуждал подследственных городить на себя понапраслину, и очень скоро понял Сапа, что следствию этому конца не будет. От июльской жары и непутевой кормежки у старика началась дизентерия, но к тому времени у него уже созрел план действий. После долгих раздумий он решил, что надо написать письмо главе правительства в Москву, рассказать в нем об издевательствах и беззакониях. Загвоздка была в одном: с кем передать письмо на волю? Бежать из тюрьмы было проще простого: выломать пару гнилых досок из стены амбара и – путь свободен. Но бежать никто не соглашался. И вообще насчет письма все думали с опаской. Какой все же дурак Есимхан: он запер в тюрьме самых забитых и безмозглых бедолаг.

– Со мной все ясно, – сказал Сапа. – Мне дорога одна – в могилу. Только бы не на чужбине в землю лечь, а в родной стороне. А теперь слушайте меня, авось мой план сгодится. Конца и края следствию не будет, они вас тут заживо сгноят. А мы сделаем так. Мне все одно – умирать, так хоть от смерти моей будет толк. Валите на меня. Что я вас сбивал с пути, подговаривал бежать за кордон, ну и прочее. Сами выгораживайтесь, как можете. Может, они хоть от вас отцепятся? А я во всем сознаюсь, чего было и не было, всю вину возьму на себя.

Такой вот план предложил умирающий Сапа. Себя самого ему было не жаль. И лишь один раз у него дрогнул голос, когда он заговорил о Шерубае:

– Его судьбу тоже вручаю вам. Суждено ему умереть, с вами вместе пускай умирает, сумеет выжить – тоже вместе с вами...

Дальнейший ход событий Сапа предугадал как ясновидец, и Есимхан сделал все точь-в-точь, как он предполагал. Лишь в одном просчитался Сапа: то, что написано пером, не вырубишь и топором. Не мог он знать, что напраслина, которую он сам на себя возвел, что он, мол, враг Советской власти, клеймом ляжет на сыновей и лет сорок потом не будет давать им покоя...

В колонне ссыльных кого только не было: контрабандисты, воры, просто недовольные, но все они шли под общим красным лозунгом: «Беднякам – рай, богачам место в Сибири!» Перед этапом Сапа скрыл, что он болен, чтобы не оставаться в вонючем тюремном амбаре, и вскоре его схоронили у подножия Конкая, на берегу Бухтармы, откуда был виден величавый пик Кокжота.

Уже умирая, отец подозвал к себе Шерубая и что-то шепнул ему на ухо, таясь от других, но слов Шерубай не расслышал, а намека не понял. Он ничего не понял даже тогда, когда его самого живьем начали закапывать в одной могиле с отцом. Последнее, что он видел – муллу над могилой, который отпевал отца. Кто-то сказал очень внятно: «Залез». Он и в самом деле залез в нишу, чтобы уложить в нее получше тело отца. И вдруг услышал сверху грохот падающих комьев земли. У него волосы встали дыбом от ужаса, и сквозь этот грохот все тот же голос произнес: «Пока не стемнеет, не смей шелохнуться. А стемнеет – уходи куда глаза глядят...».

Что было дальше, он не помнит. Целую вечность была крошечная тьма. Потом в той тьме появилась прореха, она увеличивалась, и появилась возможность дышать. Ему казалось, он видит вверх угольки – один, другой, третий. То были звезды, их оказалось так много, так много, что от их обилия можно было сойти с ума. И еще с ума сойти можно было от оглушительного и непрерывного свиста, которым было заполнено все пространство от земли до неба. Потом до него дошло, что это сверчали сверчки.

Кто-то пошевелился рядом. Кто пристально смотрел ему в лицо. Сердце екнуло. Ему показалось, что это гривастый Есимхан с наглыми козьими глазами.

– Дяденька, ты живой? – услышал он девичий голос.

Рядом с ним сидела тоненькая, как мизинец, девчонка с лопатой в руках. Она дрожала и плакала.

– Чего ты плачешь?

– Так страшно. Я думала, вы умерли...

– Ты одна?

– Одна. Отец послал. Надо бы взрослым, но им нельзя. Кругом милиция.

– Милиция?..

– Угу. Говорят, ссыльный сбежал. Аул вверх дном перевернули.

– Ну, будет плакать. Видишь, я живой, хоть и лежал в могиле. Теперь уж, наверно, не помру.

– Уходите быстрее, – и девчонка, которую бил колотун от озноба, вручила Шерубаю мешочек с едой и крохотный, с кулак, торсык с шалапом. Он видел, что она от страха того и гляди потеряет сознание. Наверно, ей казалось, что перед ней не человек, а оборотень. И как она в одиночку вытащила его, здорового верзилу?

– Зовут тебя как?

– Саркыт¹.

– Ну и наградили тебя имечком! Ладно, не горюй. Бывают объедки слаще царского ужина... Спасла ты меня от могилы. Вовек не забуду. Теперь иди. А лопату оставь.

– Да хранит вас Аллах!..

Разве такое забудешь?!

¹ Объедки.

Потом, уже на войне, он первым кидался откапывать ребят, засыпанных землей после артобстрела. Он никогда не гнушался ни мертвецов, ни могил. Всегда стояла у него перед глазами махонькая девчонка, что вытащила его из могилы. И каждый раз, поднимаясь в атаку, он слышал ее тихий голос: «Да хранит вас Аллах!..».

...Черный бархат алтайского неба стал бледнеть. Близилось утро. Шерубай сел верхом на пузатого рябого, сделал круг по ночному, объезжая косяки лошадей. Юрта Сян, с вечера стоявшая отдельно, сейчас прилипла в главной юрте, как теленок, которого взяли на короткую привязь. Всё ясно, токал шлея под хвост попала. Не будем ее зря тревожить. Он бесшумно напоил коня, оставил его у родника, чтоб тишина была полнейшая. Но будто сама земля шепнула Асем о том, что муж пришел, она вмиг выскочила из юрты, открыла дымоход, пинком заставила встать пузатую корову у привязи. В общем, дала понять, что настроена решительно. Но ему не хотелось вступать с ней в разговоры и выяснять отношения. Он молча сел на полешко и впервые сам снял с себя сапоги, давая понять, что он не хочет препираться. Разгоряченная ступня коснулась инея на траве, по всему телу прошла дрожь, и это было ни с чем не сравнимое наслаждение. Он закрыл глаза. Асем доила корову, и струи молока ритмично падали в ведро. Слышалось шлепанье шершавого языка рябой коровы, лизавшей голову теленку. Он расслабился и забылся в блаженстве. Очнулся он от легких прикосновений. Асем положила у ног его ичиги и подала ему пиалу парного молока. Молоко показалось густым и мягким, как сливки. Токал опять была на сносях, груди ее округлились, живот стал отвисать. Передавая ей пиалу, он заблудился руками в ее одежде. И вконец разомлел.

– Скоро? – спросил он ее.

– А то не знаешь!

– А ты не зачатила?

– Да я боюсь, как бы со снохами не довелось соревноваться. Ты-то чего тревожишься? Пока получается, увеличь свое поголовье.

Шерубай спрятал лицо в ее тугие и белые груди, с наслаждением вдохнул запах спелого женского тела, но и с опаской покосился, как бы не вышел кто из сорванцов. А токал пристроила свой полный живот на колени старика и стала мыть ему ноги теплой водой. Иней пронзил его дрожью, мягкий живот оглушил теплом и нежностью, а шевеление плода, что торкался в утробе Асем, ошпарило Шерубая жаром:

– О Господи! Спасибо, что не забываешь меня! – он прерывисто вздохнул, и голос его задрожал и пресекся.

Глава вторая

1

Череп вороной, которую зарезали на тризну по Кара Дию, торчит на столбе у ворот. Бог знает сколько времени. Каждый раз, входя во двор или выходя из него, Жакып вздрагивает, будто ударяется лбом о тот лошадиный череп, потому как в памяти приходит в движение целый пласт прожитой жизни, который безвозвратно канул в прошлое и вроде бы навеки забыт. Тот обглоданный временем череп давно уже стал единственным сторожем этого дома – с прогнившей тесовой крышей, с щербатыми и покосившимися наличниками на окнах и дверях и

осевшими стенами. А ведь это был один из самых добротных домов в затоне, он горделиво высился рядом с хибарами и выглядел под стать своему хозяину, который черным дьяволом стоял, бывало, в воротах, посматривая свысока на суетливую, быстротекущую жизнь. Кара Дию считал, что построил свой дом навека. И что же? «Продается на слом». Это написано жирной черной краской на воротах, и сердце Жакыпа тяжело поворачивалось в грудной клетке, когда он видел те слова. Отец сумел построить не просто дом – крепость, а ты безвольно смотришь, как готовы сравнять с землей родительское гнездо...

– Эй, Акаш!.. Нет, Токаш... Тьфу, бес попутал!.. Тебя же зовут Жакыш? Ты приходи, дорогой, чаю выпьешь. Помянем твоего отца – моего деверя. Ба-альшой был человек!..

Старуха Бибисара, пожалуй что, одна-единственная в квартале жатаков помнит славного Кара Дию. А кто бы его еще помнил, если в этом квартале не осталось ни одной живой души?

Солнце, притомившись, легло на бок, и черный дым, клубившийся над комбинатом, придал закату феерический вид. Весь город будто пламенем объят, стекла домов полыхают пожаром. Обычно к вечеру со стороны реки дул спасительный ветер, и жара спадала. Но сейчас от старого пирса протянулся новый микрорайон, бетонные коробки домов встали преградой на пути речного ветра, теперь уж нет спасительной вечерней прохлады. Панельные дома подмяли квартал жатаков и, оккупировав все побережье, тянулись туда, где виднелся остров Клеверный, бывший когда-то местом выпаса скота. Неожиданно взвихрился дурной, из ничего не возникший смерч, столбом поднял красную пыль и загнал ее прямехонько во двор к Жакупу. Одно утешение – умолкли осточертевшие за день бульдозеры, экскаваторы и самосвалы. Полуснесенные дома, пустые глазницы окон, проемы дверей, ведущих в никуда, и мертвенная вечерняя тишина – всё напоминало мазары заброшенного старого кладбища. А подъемные краны, нависшие над землей, ходили на стаю стервятников, слетевшихся на падаль. Он поежился даже, настолько больно было видеть все это.

Уже давно не общавшийся со своей родней, Жакып не знал, куда переселили жатаков, то есть – он усмехнулся невольному каламбуру – куда они откочевали¹. А и с кем он общался бы? Те, кто постарше и кого он знал, не вернулись с фронта, а те, кто помоложе, его не знали. И отец его к концу жизни остался один среди сирот и женщин, как старое дерево, уцелевшее после пожара. Наверно, потому и торопился на тот свет, куда ушли его сверстники. А когда он умер, кроме муллы Жалгабая, который его отпевал, никто не мог вспомнить его настоящего имени – Толеш. Вот так вот: при жизни был он гроза грозой для всех, а о себе он и не думал, даже имени своего не удосужился людям сказать, ему на все про все хватило прозвища...

На пристани басисто загудел буксир. А может, катер? Нет, буксир. Жакып еще с детства научился распознавать по голосам все судна, что шлепали вверх и вниз по реке, от парохода и до распоследнего плавучего корыта. И сейчас по хриплому гудку он понял, что это трудяга-буксир, который тащит баржу или плот. Как бы желая выяснить, не ошибся ли он, Жакып двинулся к берегу пыльной улицей, доживающей свои последние дни.

¹ Жатак – оседлое население, беднота. Здесь невольная ирония: как раз кочевать жатаки не могли из-за отсутствия скота и средств передвижения.

После того, как он вышел из больницы, это стало у него вроде привычки: каждый звук оживлял в памяти то, что было когда-то, и он сверял с прошлым нынешние дни. Сначала он неделю-другую пожил у племянницы, но быстро понял, что ему нет места в ее крохотных трех комнатах. К тому же зятек, падкий на барахло, в дополнение к мебельным гарнитурам, которыми была забита квартира, стащил из отчего дома всё, что как-то могло стодиться. Дескать, строю дачу, то да сё. Жакып с трудом вернул скрипучую тахту и драный матрац. Еще, слава Богу, не утащил зятек лошадиный череп, что торчал у ворот. Подумать только, чем богаче и сытней человек, тем он скупей и жаднее. Квартира забита гарнитурами, а у самого не то что костюма – штанов целых нет, все дырявые, голым задом сверкает. И ребятишки ходят черт знает в чем. И с сестрой они – два сапога пара. Ей намного важнее пыль с мебели вытереть, чем с мужем переспать. И он не в претензии: ему тоже важнее, чтобы она пыль вытирала. Когда Жакып попросил у нее ключи от отцовского дома, она вроде стала его отговаривать: ты, мол, с тоски там взвоешь, но он по глазам ее видел: рада, шельма, что он уйдет. Правда, по первости она к нему заглядывала и приносила в кастрюле то, что у них оставалось из еды, но после того, как он вручил ей полторы сотни, чтоб она купила своему обносившемуся мужу какое-нибудь прикрытие, она исчезла и не возникла больше. Видать, решила, что он сам перебьется...

Он уже вышел к берегу и не без удовлетворения отметил, что оказался прав: по реке и в самом деле шлепал буксир. И хотя он спускался сверху, шел по течению, но плот, который извивался за ним, как исполинская змея, был огромен, корма буксира просела в воду, и видно было, с какой натугой буксир продвигается вперед. Бухтарма в низовьях теперь выглядит не рекой, а морем. В Куйгане построили шлюз, и плоские корыта, что раньше бороздили реку, легли на берег за ненадобностью, а вместо них утюжат воду морские танкеры, катера и «Ракеты». Исчезли и старомодные деревянные лесенки на пирсах, одетых в камень и похожих теперь на забетонированные ущелья, забитые катерами, шхунами, баржами, на которых монбланами высятся гравий и песок. Район затона, когда-то сплошь застроенный низенькими хибарами, превратился в настоящий порт, но при всем при том Жакупу он казался старым кочевьем, навсегда покинутым людьми. Он искал крытый базар и не нашел его на привычном месте. На базаре всегда былолюдно, здесь сновали жуликоватые городские торговцы и чинные, одетые в стеганые чапаны степняки, благоухающие кумысом. Нет, не было базара, исчез базар... Вдоль песчаного пляжа плавал жирный мазут, он синим атласом сиял в кровавых лучах закатного солнца. Помнится, покойный отец в страхе, как бы не утонул Жакып, пускал его в воду, лишь привязав на аркан, один конец которого держал на берегу. Кара Дию душу готов был отдать за своего Карашелека. А чем хорошим я отплатил ему за такую любовь?..

– Чё, Яшка? Вспомнил, как мальцом сюда бегал?

– О-о, дядя Осип!.. Промышляем, значит, как прежде?

– Какое там промышляем? Кроме сорожки никакой рыбы нет. А сорожка – что? Одно слово – сор. Зато – благодать, душа отдыхает. Огня в зубах не держишь?

– Нет.

– Молодец!.. А я, язви тя, сюда с острова пружа спичками. Я ведь вроде хозяин тамошний, комендант острова. Последнего зайца охраняю. Умора, слышь! Какой там заяц? Там на коров облаву надо устраивать.

Дядя Осип, казалось, оставался все таким же, как и в те незабываемые времена, когда Жакып был Карашелеком, и лишь его купоросно синие, ярко-васильковые глаза повыщвели, да сивая бородка подернулась изморозью и стала редеть. Старик зачалил свою лодку о сорока заплатах и наладился уходить. А Жакып, не знавший, куда себя деть, стал тянуть его в пивную.

– Э-э, какое нынче пиво? Это ж не пиво – моча, – старик привычно сыпал вперемежку казахские и русские слова. – Говорят, вода в Бухтарме испортилась... Если уж пить, как говорит начальство, то что-нибудь посушественней.

– И это найдется. Был бы в добром здравии Мкртчян.

– Ну, этот всегда на посту. Ладно, уговорил. Я отца твоего уважал, как же тебя не уважить...

Что было, то было. Трудяга Осип любил основательность Кара Дию. А Кара Дию был доволен, что Осип ему за бесплатно ремонтировал сани, телегу и всякую всячину. Рюмкой он его не обносил, и в лагуне в нужный момент всегда находил стакан бражки. Погодками они вроде не были, а всё одно, как сверстников, тянуло их друг к другу. Когда Жакып собрался жениться на Лесе, Кара Дию пригласил Осипа быть сватом, и до последнего вздоха якшался с ним, как с братом родным... А всё же голос Осеке дал трещину, шея стала морщинистой и на макушке появился цыплячий пушок.

– Яш, ты не в курсе? Говорят, лектростанцию на этот... атомный реактор переводят.

– Не.

– Говорят, с того реактора воду сольют, так от воды от той не токмо трава – бурьян будто тухнет. Жить-то как будем?

Сипит Осип, хрипит Осип, а видишь ты – душой радеет за общее дело.

2

Шашлычный мангал у пивнушки заржавел от безделья. Народу внутри негусто. Единственный на всю Зеренду армянин по прозвищу Мыкыржан, завидев макушку Жакыпа, обрадовался, будто увидел свата:

– Ой, дарагой! Прахади, гостем будешь. Хочешь манты – будут манты, хочешь шашлык – будет шашлык. Пива? Хоть упейся. Арак? Коньяк? Из-под земли добудем...

Жакып огляделся. Ни лесорубов не видно, ни плотогонщиков. Иссякла «дикая» тайга. Сегодняшняя публика у Мыкыржана – оседлые, пропахшие илом матросы с буксиров и катеров да портовые грузчики. Сосут хвосты воблы, мочат усы в пиве. Шикуют в общем, хотя для Мыкыржана это не шик, а пшик. За одной кружкой пива они могут торчать часами, переливая из пустого в порожнее. Так что Мыкыржан знал, перед кем расшаркивался. Ему не надо лезть человеку в карман, чтоб подсчитать его возможности. Если прикинуть, сколько денег спустили здесь такие, как Жакып, хватило б на то, чтобы несколько раз сравнять с землей квартал жатаков и отгрохать его заново.

Петька Анисимов сидел в углу с кружкой пива, пировал сам с собой. В жестяной тарелочке лежало перед ним пять мантин, он уж их все перещупал: поднесет ко рту и назад положит. Не лезут в горло. Аппетитные очень. На Жакыпа глянул бирюком. Жакып сделал вид, что не заметил. А ведь друзьями были два атамана – верхушку держали в затоне. Пацанов доходят с комбината, бывало,

часами не подпускали к реке. Знай, мол, наших. Потом меж ними пробежала кошка. Из-за Леси, между прочим. И хоть внешне блюли приличия, но в душе у каждого рычал цепной кобель.

– Яшка! У тебя что – зрачки бельмом покрыло?

– А-а, Петь! – деланно удивился Жакып. – Живой?

– А ты ждешь, когда сдохну?.. Ладно, давай к моему шалашу. Дерьма не жалко, поделюсь.

– Ну-у, ты был щедрым всегда. Как-нибудь после. Извини, я не один, – и Жакып со стариком Осипом заняли свободный столик. – Лучше ты к нам причаливай, Петя.

Петр владел в совершенстве двумя языками, но считал, что говорить на людях по-казахски откровенный подхалимаж. Поэтому Петр говорил по-русски, Жакып отвечал по-казахски, и разговор шел без сучка и задоринки... Петька еще какое-то время посидел в гордом одиночестве, но потом все же не удержался и, отодвинув свою закуску, подсел к Жакыпу с Осипом.

– Что не заходишь? – спрошено было по-русски.

– А пес тебя знает, где ты живешь, – отвечено было по-казахски.

– Вот-вот. Здесь каждая собака знает, где я живу. Ладно, кончай обижаться. Делить нам нечего. Баба есть баба. Чей бы порог она не переступила, а мужик должен оставаться мужиком. Мы были друзьями? Были. Ну, так в чем дело?

Петр, конечно, дерябнул немного, но речи говорит не пьяные, мыслит трезво и задевать он никого не задевает. Ну, случись такой разговор в былые времена, давно бы уже один из них лежал на полу. Жакып и тут с трудом сдержался, будто палкой огрели того кобеля, что в нем затаился, шерсть на загривке дыбом встала.

– Петр, может, ты перестанешь трепаться? – сказал мудрый Осип. – Не порть нам аппетит. Эй, Мыкыржан! Где тебя носит?

Народ в затоне уважает стариков. Если старик прикрикнет, даже псы, что грызлись, обретают благоразумие. Они и тут не стали нарушать традиций. Правда, Жакып, с тех пор как вышел из больницы, навсегда распрощался с зеленым змием: других угощал, сам неизменно постился. С хрустом съев ароматного шашлыка Мыкыржана, к которому тот принес целый стог зеленого лука, залил его уксусом и, наперчив, отказался от дефицитного коньяка, который Мыкыржан выставил на их стол опять же со словами: «Только для вас». Коньяк был наиредчайший, «Арагат», ереванского разлива, и то, что он появился, служило знаком особого уважения хозяина этой единственной в своем роде забегаловки. Вообще, сам Мыкыржан был тоже достопримечательностью затона. Начать с того, что здесь он родился и вырос. Армения всегда его тянула как магнит, и каждый год он ездит на родину, и каждый год грозит, что уедет совсем и не вернется. Но всегда возвращается. По-русски он говорит через пень-колоду, с акцентом, коверкая, искажая слова. Но есть подозрение, что с не меньшим акцентом он говорит и на своем родном армянском. С таким акцентом у родных кормушек не прокормишься. Он снова и снова возвращается к своему шалашу в затоне и к своему мангалу. Как он крутит дела, как он их вертит, даже ОБХСС не может путем разобраться, но живет он в двухэтажном особняке и ездит на новенькой «Волге». И как угодно можешь клясть эту забегаловку и поносить ее, но никто не смог укорениться в ней. И это вопреки тому, что Мыкыржана уже несколько раз выживали отсюда, прогоняли с шумом и скандалом, но хлебнув

вместо пива помоев и отведав шашлыка из сухожилий, жалобщики сами запросили пощады, умоляя Мыкыржана вернуться, принося ему тысячу извинений. Ну ведь умеет, чертенька, без мыла в задницу залезть! Мало того, что выставил «Арарат» на столик, так он еще в карман Жакыпу сунул бутылку: «Ай, дарагой. Последняя бутылка, и только для тебя!..»

То было явным перебором, авторитет Жакыпа в затоне был высок и без «Арарата», но «Арарат» поднял его так высоко, что все, кто был в тот миг в пивнушке, потянулись к славному земляку, чтобы лично его поприветствовать, чтобы выразить ему сочувствие по поводу недавней травмы и, конечно же, уважить человека, за его счет выпить. Сочувствие обошлось ему в сотню рублей. Он не пил, но захмелел вместе со всеми, одинокая его душа обрела свою стаю и в стае утешилась. А люди вокруг словно бы ждали человека, который может их выслушать, и разговор лился рекой, и были здесь свои философы, свои витии и пророки. Говорили о том, что болит: про судьбу Бухтарминского моря и про то, что стоит-пустует рыбозавод, что напрочь выдохся промысел рыбы, что сужается зона перевозки, что возить скоро нечего будет, что было морское-рыбачье счастье, да кончилось все. Оно вроде правда, вранья вроде нет, а и поверить страшно. Жакып не участвовал в разговоре, слушал готовое. А потом и слушать устал. И под сурдинку стал расспрашивать Осипа:

– У тебя дом в сколько комнат?

– Дак сколько? Четыре, – старик, видать, не понял, к чему был задан тот вопрос. – А если прибавить подвал, так все восемь. Но две из них – старухины кладовки, а две – там мои мастерские.

– А на острове?

– Дак и на острове... тоже две комнаты. Ну, и, как водится, клетушка да сарай.

– Скотина есть?

– Дак... без скотины как? Две коровы, телята-поросята, овечки-козлята. Ну, там, куры-гуси. А что?

– Лет двадцать назад у тебя была на всё про всё одна коза. И вместе с мастерской две крохотные комнатки.

– Этот куркуль, заметь, скрывает кобылу с жеребенком и выводок индюков, – мстительно вставил Петька, будто вдарил старика по затылку. – Ведь он помещик по нынешним временам.

– А ты, отщепенец, помалкивай! – Старик тоже не остался в долгу. – У тебя не дом – мебельный склад. Четыре комнаты, а жить негде. И белая «Лада» туда же. Да твоему отцу такая машина во сне не снилась!..

Те, что жили в затоне, терпеть не могли комбинатовских, рабочих рудника и сталеваров ставили ниже себя. Река с тайгой – вот Бог и царь, им надо служить и молиться. Затоновцам легче было сдохнуть, чем взять в руки кайло и лопату. Старик, назвав Петра отщепенцем, видать, в глаза ему ткнул, что тот нарушил традицию. Надо же, до чего живучи в людях предубеждения, если даже у старика не хватает зоркости души и мудрости посмотреть на жизнь шире, а не только с высоты своего курятника.

– Ладно, я скряга, – Петька платил старику всё той же полновесной монетой.

– А ты хотя бы раз в трактире оставил лишнюю копейку?

– Наш дядя Осип и сейчас не особо тратится! – сказал шкипер Рамазан, лихо заломив фуражку.

Он провоцировал не столько Осипа, сколько Мыкыржана: хотелось выпить еще на халяву.

– Посмотрим, как ты потратишь, – отшил его старик. – Под тобой целая флотилия. Я уж не говорю про личную твою моторку. И я не говорю про то, что тебе одному маловат стал наш квартал, ты готов один ползатона занять...

Жакып, разговорив людей, дал им возможность перешарить тайники друг друга. Как выяснилось, нищих нет, никто не бедствует, скорей наоборот. Почти в каждом доме есть машина, и моторка, на худой конец – мотоцикл. Все они – жмоты, но замашки у всех купеческие. Стоит в затоне оценить не то что породистой собаке – дворняге какой-нибудь, тут же крестины устраивают, да не где-нибудь – в ресторане.

– Слышь, Яшка! – спохватился Осип. – А ты не ревизор, случаем? Все наши закрома проверил, а о себе – молчок. Сам-то чем занят, скажи?

Вот и всё, теперь не отбрыкаться, поиграл в молчанку и будет, старик сумел ухватить Жакыпа за больное место. Каким бы ни был ты щедрым, как бы ни потрошил свой карман, убажывая других, надолго ли это утешит тебя? Да, он был сам себе голова, ни узды ни поводьев, ни хлопот ни забот, а в результате – пустота в душе и усталость. Это всё равно что загонять вглубь болезнь или зашить дыру в мешке ярким атласным лоскутом.

Старик наступил на большую мозоль и потоптался на ней немножко:

– То, что дом отца снесут, тут ничего не попишешь, но мы о тебе порадели: сходили в горсовет, выхлопотали для тебя ордер, чтобы в доме, который на этом месте построят, была бы и твоя квартира. Ты уж, пожалуйста, сходи – возьми готовый ордер. И не таись, как бирюк, от людей, и живи не в горечь себе, а в радость. Тайга – оно, конечно, хорошо. Но, по-моему, там без тебя рук хватает: там рубить уже нечего.

– Ой, дядя Осип! И всё это ты знаешь...

– А он к начальнику близко ходит, – опять поддел его Петр. – Если бы мне каждый день поставляли на стол по индюку, я бы тоже всю подноготную выкладывал. А индюков у Осипа – пропасть...

– У-у, дались тебе эти индюки, – проворчал старик. – А начальство... Что оно мне? Можно подумать, только у начальства котелок варит. А у нас с тобой вместо головы что – кувалда?..

Сигарета Осипа не пробрала. Он разжился где-то пожелтевшим гвоздиком «Прибоя» и теперь величаво и скупно выпускал дым сквозь усы, поглядывая на всех свысока, будто он главный дирижер в этом шалмане. Рамазан вынужден был тряхнуть мошной, но его заказ Мыкыржан выполнил по второму разряду, выставив напиток рангом ниже. Но это уже не имело значения. «Через нашу глотку и ржавчина пройдет!» Рамазан вел себя так, будто в чей-то казан положил тушу барана, он важничал, невольно отвлекая внимание всех на себя. И чтоб окончательно утвердиться во мнении окружающих, он стал опять же подъезжать к Жакыпу. Дескать, они одногодки, вместе выросли и даже находятся в дальнем родстве. И намекнул при этом, что он хоть и шкипер, но власть, пусть небольшая, есть и у него. И, набросав под зад Жакыпа пустые подушки дешевой похвалы, назвав его «морским волком», «бывалым подводником», пригласил работать на свой катер.

Жакыпа корбило милосердие доброхотов и опекунов. Ему надоела вся эта говорильня, конца и края которой не предвиделось. И он дал понять старику Осипу, что пора бы откланяться.

3

Огни затона казались искорками, выпавшими из большого костра ночного города. Вдали виднелись высокие дома в электрической россыпи северного сияния. А здесь, рядом, была смолисто-черная глубь речной воды, поверх которой бродили лучи больших и малых прожекторов. Ночью жизнь на пирсе прекращалась.

Старик Осип из предосторожности вернулся на берег, защелкнув замком лодочные цепи. А бывало, ворота затона не запирались даже на крючок.

Старик вздохнул:

– Куда деваться? Нынче все под замком, даже сортиры, – он бережно положил ключ в кошелек.

Как верблюды, уснувшие после выпаса, в затоне замерзли сухогрузы и баржи. Вода морщижилась волнами, с хлопаньем облизывала берег, и на волнах, сверкая брюхом, качались вздутые мелкие рыбешки.

– Глистачи, – пояснил старик Жакыпу. – Ими даже чайки брезгуют.

– Чего им брезговать! – Петьке только бы возражать старику. – Они, дурные, тоже лопают и подышают...

Жакып в детстве видел рахитичных людей, заболевших эхинококком, но он и слыхом не слыхивал, что эта пакость поражает рыбу. Рыбаком он не был, хоть и вырос на берегу, и все ахи и вздохи по поводу рыбьих бед его мало трогали, хотя в шалмане Мыкыржана разговор то и дело вертелся вокруг того, что, дескать, мусор, поднявшийся со дна водохранилища, заразил Бухтарму, и вся живность в ней мучается сейчас от этого глиста.

– Да не горюйте вы об этой мелочевке, – сказал он старику, чтобы хоть как-то его утешить. – Ну поживем пока без рыбы.

Старик, не возражав, согласился.

– И то – чего ее жалеть, эту рыбу? Морское дно уляжется, оздоровеет, всё придет на свои места. Правда, лет двадцать для этого надо. А у меня их нет в запасе.

– Однако, десять лет уже прошло, – опять возник Петька. – Оно вроде бы вдвое легче.

– Не лез бы ты в душу, а? – сердито глянул на него старик.

– Ладно-ладно, молчу. Куда уж нам с нашим кувшинным рылом да в калашный ряд.

Старик, понятное дело, утратил твердость шага, безлюдная улица затона ему была тесна. Он временами заплетался в своих же собственных резиновых сапогах, но, меся зигзагами мягкую пыль, всё пел свою невеселую песню:

– Мы этому морю за десять лет раз десять дно перелопатили. Не трогай мы его, оно бы давно наполнилось до тридцати восьми миллиардов кубов. А что мы имеем?.. Восемнадцать вместо тридцати восьми. Весной вода чуть-чуть поднимется, а к осени падает чуть ли не вдвое.

– Да куда ж она, вода, – в прорву падает? Неужто Иртыш с Бухтармой не могут насытить море?

– А с каких это шей они бы его наполнили? – старик чуть ли не нападал на Жакыпа. – Тайгу-то вырубили, вот и обмелели реки. Да знаешь ли ты, что по твоей милости на дне моря каждый год оседает пятиметровый слой ила? – Он бы еще выдал ему два-три обвинения, но очень кстати споткнулся об автомобильную покрывку и покрыл ее матом в три этажа, при этом пнул ее в сердцах, как будто от нее идут все беды. – А море между тем свою лямку тянет. Четыре электростанции

живут за его счет. А сколько городов в низовьях, сколько предприятий? И всем водичка нужна. Где ее взять? Вот и приходится каждую неделю открывать шлюзы, спускать воду, иначе в низовьях сдохнут от жажды. – А ты говоришь – рыба. Рыбу, конечно, жалко, но рыба – это чепуха...

Дошли до квартала жатаков, и Жакып взял старика под руку, направил в нужную сторону, чтоб тот с пути не сбился.

– Дорогу домой найдешь?

– Я – что? Да я на четвереньках доползу. Только дай мне еще папиросу. Я по дороге выкурю, а то баба рычит, дескать, дом прокопчу.

– А пустит она тебя?

– Пустит, куда ей деваться? А не пустит, одежду в дверь закину, – и он рассмеялся, будто сморозил что-то уж слишком удачное. – Ты что, не знаешь этого анекдота? Ну мужик вроде меня всегда приходил домой пьяным, а жене надоело, она его однажды и непустила. Приходит наутро он на работу: так, мол, и так, говорит, жена не пускает. А сослуживец, тоже с похмелья, ему говорит: я, мол, прихожу домой, наголо раздеваюсь, жена как только двери приоткроет, я трахбах – и закинул одежду в дверь. Куда жене деваться? Впускает как миленькая. К ночи наш мужик, поддатый как следует, увидел перед собой дверь, по-быстрому снял всю одежду с себя, закинул внутрь, пока двери не захлопнулись. И тут же услышал голос диктора: «Осторожно, двери закрываются!..» – Старик закашлялся от смеха. Насмеявшись вдоволь, он помусолил папиросу в губах, но закуривать пока не стал. – Ладно. Приятных сновидений.

И потопал домой. Жакып и Петр долго смотрели ему вслед, но смотрели по-разному.

– Трепач высшей марки! – Петр презирал даже тень старика. – Про море, про метро расскажет – про всё что хочешь. Язык без костей.

– Вот-вот. А мы с тобой косточкой подавились, два слова связать не можем.

– Ну прям уж там, не можем. Стоит захотеть...

Постояли, покурили. Сказать, что им расстаться было тяжело, не скажешь. Так, деланная вежливость, не смотреть же друг на друга волками. Интересно, кто первый проколется?..

– Яш, слышь, ты все же отпусти ее. Она всё равно тебе не нужна. Потом: ты казах, она русская...

– Всё? Ты вот что – ты мне национальной политикой мозги не компостируй. У нас с тобой мамы разные, а мы вроде были друзьями, водой не разольешь...

– Ладно. Бывай.

– Бывай.

И разошлись по сторонам. Веселое прощание...

4

В квартале жатаков бродячим псом скулил ветер. Зияющие окна покинутых домов были безжизненны и мертвы. Частокол подъемных кранов сторожил эти руины, как бы вышаривая прожекторами, не осталось ли здесь еще хоть что-нибудь живое. Ярко-желтый свет, схлестнувшись с желтой глиной, сеял ядовитое как желчь сияние. И в том сиянии тускло мерцало одно-единственное окно – в хибаре старухи Бибисары. Старуха сегодня должна была переехать в новые хоромы, но – факт налицо – опять не двинулась с места. И, столкнувшись лоб в

лоб с лошадиным черепом, торчавшим у ворот, Жакып попятился даже. В дом заходить не хотелось.

Он обошел полуразвалившийся дувал, долго смотрел в сторону степи, в непроглядную ночь. Вдохнул и стал смотреть на город, над которым стояло зарево огней и почти не было звезд. Как исполинское животное, виднелось море, его живая темная спина. Море тоже уходило вдаль, и временами казалось, что оно выше земли. Многоэтажки вдоль берега смотрелись караваном кораблей, уходящих к горизонту. Из темени вынырнул черный танкер. Он молча пер сквозь перекрестные лучи прожекторов на пирсе и походил на черного морского дьявола. Чтoб не было сомнений на этот счет, он, грозя всей округе, взревел сиплым басом.

Море трудилось и ночью.

А в душу Жакыпа это море так и не вошло. Он, может быть, впервые за всю свою взрослую жизнь увидел его в такое неурочное время и подивился ему. Ночная экзотика!.. Город, который, помнится, можно было в полчаса пройти из края в край, разросся, и горизонт стал как бы шире, и лес, что был всегда рядом, рукой подать, отступил к плешивым холмам. Господи, а куда подевался клеверный луг? Тот самый травяной разлив, где были и сенокосные угодья жатаков, и пастбище для их немногочисленной скотины. Ушел под воду. Лишь островок остался от него. Точит из воды макушка желтого бугра, где когда-то стоял отчий дом Леся. Бог ты мой! Ведь мы утопали в благодатном просторе, сами того не сознавая. Мы презирали горожан и свысока поглядывали на степняков, нам достаточно было одной дойной буренки да крохотного огорода, который мог прокормить десяток ртов. Ах, какое было время! И всё ушло, остались лишь эти развалины, да и они вот-вот исчезнут навсегда. И в жизни моей тоже – руины, подумал он...

«Если позовешь, приеду, хотя я и виновата перед тобой». Вот и всё, что написала Леся, когда выслала деньги Жакыпу. Он не ответил ей ни «да», ни «нет». И то и другое было одинаково больно. Чувства тоже ветшают, как дома, лишь с той разницей, что на порушенной жизни не сделаешь надписи: «Продается на слом...».

Прежде чем войти в дом, Жакып приоткрыл дверь, просунул в щель руку, нащупал выключатель, врубил свет. Кто-то с грохотом метнулся в глубь дома. Полосатая кошка, ростом с ягненка, не меньше, рыча как рысь, ошетинившись и тараща глаза, выла в углу, готовая наброситься на человека. В зубах она держала горlinkу, кровь капала на пол. Но поскольку человек не уходил, она бросила охотничий трофей и с воем вылетела в окно. Они в равной степени были напуганы друг другом. Хотя они в равной степени были пострадавшими. Кошка тоже родилась и выросла в этом доме и покидать его никак не хотела. Племянница несколько раз уносила ее на новую квартиру, но кошка упорно возвращалась назад... Он осмотрелся. Следы недавнего кошачьего пиршества были чудовищны: пол заляпан кровью, птичьими потрохами, усыпан пухом и перьями. Его перевернуло от жути и отвращения. В довершение к этому стоит ему сделать шаг, как что-то с грохотом падает, ударяя по нервам, которые и без того напряжены. Он, спокойно ходивший по таежной глухомани и в погоду и в непогоду, и днем и ночью, ни с того сего напугался. Зажег свет во всех шести комнатах. Казалось, кто-то прячется за дверью, за стеной. Он обшарил все углы. Нет, никого. Он был не робкого десятка, но впервые у него похолодели руки от страха. И это в доме, где он появился на свет, где он знает наперечет все щели, где каждая половица ему считай что кровная родня... Он было лег на раскладушку, но она застонала

всеми своими сочлениями. Раскладушка сторожила каждое его движение, как бы жалуясь всякий раз на свою невозможную судьбу. И здесь покоя нет. Когда-то именно в этой комнате они провели с Лесей первую брачную ночь. Им занавескою отгородили угол. И лишь гасили в доме лампу и кроме белевшего в ночи окна не оставалось свидетелей, он ложился в постель, с нетерпением поджидал жену. Она всегда запаздывала и, очевидно, стесняясь взрослых, долго возилась на кухне, позвякивая посудой. А он лежал, зажмурив глаза, и загодя обмирал от тех ласк, которые предстоят, и ждал, когда дрогнет красная занавеска. Именно в этой комнате, в этом углу, под защитой занавески из красного атласа, он, восемнадцатилетний, испытал всю полноту мучительного счастья первой и единственной осуществимой любви...

Кто-то кашлянул за стеной. А может, ему показалось? Отец всегда вставал с воробьями, а то и раньше их, тревожась, что скотина останется неухоженной. И в рассветных сумерках налетал – это уж обязательно! – на какой-нибудь таз или чайник, зазевавшийся у дверей. И, со звоном и грохотом, пиная неуместную посуду, будил весь дом и всю округу. Он злился еще и от того, что сын не вставал вместе с ним. Неужели он не понимал, что у молодости есть свои заботы, и они куда важнее его каждодневной обязанности вычистить стойло вороной кобылы и задать корм овцам. Ну, еще он должен набрать питьевой воды у водовоза по прозвищу Бошкебай. Но Жакып всё это сделать может и часом позже, ни с овцами, ни с кобылой за это время ничего не случится, и Бошкебай умнее не станет. Потому как, набирая воду, у него надо было всякий раз спрашивать: «А сколько воды в Бухтарме?» Тот мучительно долго думал, вел какие-то подсчеты в уме, но отвечал всегда одно и то же: «Сорок бочек». Наверно, считать он умел лишь до сорока... Жакып спал утрами рядом с молодой женой, и сон его был сладок. Но к занавеске подходила мать: «Жокен! Слышь, дорогой: этого черного дьявола кашель замучил. Ты меня понял?» Чего уж тут не понять!.. Оттого, что был он единственным сыном, мать с отцом, боясь людского глаза, сразу после рождения отдали его дальним родственникам. И первые младенческие его впечатления не связаны с отчим домом, а женщина, которая баюкала его, не была ему матерью. Может, поэтому он не запомнил материнского лица. Говорят, мать его была дочерью ходжи¹, и Кара Дию свою невесту отработал, нанявшись, можно сказать, батраком к своему тестю. Жакып помнит руки матери в серебряных браслетах, которые служили напоминанием о том, что она из знатного рода. Вон в той громадной средней комнате накрывала она дастархан, накрывала с первыми лучами солнышка и сидела как главнокомандующий, не выпуская из рук краник польского самовара, который был ее приданым. Кара Дию был педант и неукоснительно требовал порядка во всем. Он сидел за дастарханом как живой и грозный укор, не приступая к чаепитию, пока не соберутся все жатаки от мала до велика. Мать раза три успевала сменить ему остывший чай, он его так и не касался. Он сторожился на всех, а мать всех равно привечала, было в ней благородство души, оно не каждому дано. Она никогда не перечила мужу, не упрекала его бедностью. Правда, Кара Дию она прозвала «черный дьявол», но было это шуткой, причем беззлобной, хотя, конечно, мать была остра на язык. Единственное, что ее коробило – экономность Кара Дию, которая граничила со скупостью. «С миру по нитке – голому

¹ Ходжа (от перс.) – господин: почетный титул мусульманина, давался придворным сановникам, высшему духовенству, купцам.

рубашка», – говаривал он. И еще: «Сэкономить копейку, ан глядь – в кармане рубль». Он жался, но богатства не собрал, а байбише была щедрой, всех кормила вокруг, но беднее не стала. А во мне, думал он, ни отцовской рачительности, ни материнской щедрости. Так – половинка на серединке.

В соседней комнате скрипнули половицы. Сейчас его окликнет мать: «Жокен, вставать пора, чай стынет». Или войдет отец, с грохотом пнув подвернувшийся под ноги тазик. Жакып со страхом посмотрел на двери. Привидения тут, что ли, бродят? Ему стало жутко, и он, трясаясь как в ознобе, выскочил на веранду, таща за собой стенающую раскладушку.

В ночи неистовали сверчки. Они остались последними обитателями и сверчали из каждой щели, не желая покидать свои жилища вопреки тому, что всё вокруг идет под слом. Сверчки – понятно, с них взятки гладки. Но ты-то что сюда забился как сверчок? Нет, надо завтра же идти в горисполком за ордером, а то, чего доброго, сам превратишься в привидение...

Видать, отчий дом многих поставил на ноги, многим дал крышу. Когда его определили к сносу, обнаружилось, что здесь так или иначе обитало до десятка семей и каждой надо предоставить квартиру. И лишь сам хозяин дома, Жакып, оказался сбоку припека. Все отвоевали себе по ордеру, и лишь Жакыпа мучила совесть.

Фыркая, опять явилась полосатая кошка – та самая, с ягненка ростом. В ее глазах уже не было кровожадности, она стала уютным домашним зверьком. Замурлыкала, села в уголок, принялась умываться. А пришла она не одна – привела с собой старуху. Неужто Бибисара среди ночи будет звать его?..

– Сынок, к тебе приходил твой приятель. Ждал-ждал, не дождался.

Вот так новость!

– Он сказал: то ли в гостинице остановился, то ли у какой родни, я забыла. Ой, какой страхолудный!.. Волосатый, его если остричь, тюк шерсти получится. Похож на жулика... Ой, слушай, он не из тюрьмы? Ты держись от таких подальше... По-моему, он не здешний. Я здесь таких не видела.

Весь набор старых страхов: волосатый, похож на жулика, да поди, еще сидел в тюрьме. Кто бы это мог быть? И, перебрав все варианты, Жакып остановился на Бекете.

– Говорил, утром снова заглянет. Ты не встречайся с ним, у него глаз недобрый, – и старуха, кряхтя, отправилась к себе домой. За ней, мурлыча, двинулась кошка.

Не сказать, чтобы он очень соскучился по Бекету, но хотелось в тот же миг рвануть в гостиницу. Нет, шалишь, зло сказал он себе. И остался до утра в заброшенном доме, воспитывая в себе силу воли и выдержку.

5

Бибисара не успела пригласить его на утренний чай. Ее чуть свет погрузили на машину вместе с полосатой кошкой и с комфортом повезли на новую квартиру.

Жакып залез на чердак, поднял в небо голубей и, не позавтракав, двинулся к пирсу. Он шел и следил за полетом голубей. Несколько раз облетев частокол подъемных кранов, они сорвались в сторону элеватора. Он с трудом сдерживался, чтобы по-разбойничьи не свистнуть. Он шел как бы сам по себе, ничего не слыша и не видя, кроме своих голубей.

Он очнулся, лишь когда увидел Бекета рядом с Осипом, и Осип сунул ему в руки черное ведро. Только тут он заметил, что вода подступает ему под ноги, а сам он стоит у причала.

– Одряхлела, старушка, – сказал Осип о лодке. – Как слезы, язвы ты, течет вода со всех дырок.

Что и говорить, не лодка – одно название. Дырявое корыто, в котором чудом удерживается сам хозяин, а пассажирам в ней явно не место. Корма прогнила и заплесневела. А смолы-то, смолы – тонна целая! И надо диву даваться, как они оба – щепястая лодка и старик, который сам нуждается в затычках, умудряются проделывать этот трансатлантический путь от затона до острова. Бекет, в остервенении взявшийся за весла и готовый стрелой лететь к острову, через минуту-другую спекся, его прошиб пот, и ему пришлось снять свитер. Поверхность воды была черной и лоснилась, как перегоревший на дне казана жир. Течение ощущалось лишь на фарватере, где можно было разглядеть остатки сине-зеленой гривы Бухтармы, она вспарывала пополам этот вязкий, как бы лоснящийся жиром, настой.

– Не торопись. До острова доплыть – нужны силы, – старик покусывал окурок «Прибоя», прилипший к губе, и наматывал леску на спиннинг. – Только берегись топляков и шалых бревен, их тут полным-полно.

А море тихое, под стать воскресному дню. Суда тоже отдыхают от пирса. И выплывшая из-за мыса яхта, белая, как праздник, лишь подчеркивала то, что сегодня выходной. Вокруг нее сновали тоже белые спортивные парусники, они были похожи на чаек, вырывающихся на лету друг у друга корм. Бекет смотрел на море, на чаек, на спутников в лодке. Он понимал, что за этой минутной несуетностью полно забот и проблем, что каждый из них лишь на минуту-другую расслабился, и что у каждого в душе, наверное, такая же сумятица, как и у него, у Бекета: неурядица на работе, нескладуха в личной жизни, смута на сердце. А для стороннего взгляда всё в их жизни – тишь да гладь да Божья благодать...

– Держите ее, держите! – заорал Осип, и Бекет чуть не выронил весла.

Жакып тоже оторвался от своего увлекательного занятия – он вычерпывал воду. Здоровенная щука, сверкая белым животом, плыла, заарканенная спиннингом. Щука была невозмутима, ее, казалось, не трогают крики старика. Пока парни пытались неловко подсобить старику, он сам подвел под рыбину сачок и хлопнул на дно лодки добычу. Щука и не думала сопротивляться, лишь пару раз хвостом ударила и застыла крутым чешуйчатым бугром, уставясь в небо безразличным глазом.

– Всё, теперь ему каюк, – сказал дед, отчего-то называя щуку в мужском роде. И тут же пояснил: каюк солитеру. Если он корову замертво сваливает, то что ему щука?

– Э-э, и на щуку, значит, есть управа, – сказал Бекет, брезгливо глядя на рыбину.

– А как же! Мелкие рыбешки поедают личинки солитера, щука заглатывает рыбешек. Кто в выигрыше? Наши куры. Мы щуку им сварим, они ее слопают за милую душу.

– Аристократы, однако, ваши куры.

– Ну нет. Аристократ пока что солитер. Он заставляет всех с собой считаться. И никто с ним ничего поделывать не может. Он уж и до тайменя добрался, и до харпуса, и даже до нельмы. Вон еще один на подходе. Не упустить бы!..

Лодка приближалась к острову, подъемные краны в затоне уменьшались в размерах и как бы стали погружаться на дно водоема, они утратили неподвижность и покачивались теперь словно бакены. Мир сжимался будто шагреновая кожа. Бекет и Жакып ступили на маленький остров, как на плот, который колыхнется под ногами и надо пружинить в коленях, чтобы сохранить равновесие. Старик не стал капитально привязывать свое черное корыто к кольшку, а лишь удлинил аркан, оставив лодку подальше от берега. Второй конец он намотал на маленький якорь. Жакып усмехнулся: чудит старик. Поди, опять боится, что кто-нибудь сопрет его щелястый корабль.

– Смеешься, да? – старик передал ему дерматиновую сумку, в которой звякали бутылки. – Ну, смейся, смейся. Как же: ты у нас бывалый моряк, четыре года подводником плавал. Бороздил, так сказать, дно океана. А мы сошка мелкая, у нас и труба пониже, и дым из нее пожиже...

– Да ладно вам! – отмахнулся Жакып. – Но хотел бы я знать: вы ее привязали на такой длинный аркан для чего? Она у вас что – пасется, что ли?

– Во, угадал. Пасется... Если внизу откроют шлюз, ты лодку эту завтра увидишь на вершине сосны.

Жакып глянул пристальней и увидел, что в самом деле здесь хозяйничают рукотворные приливы и отливы. Трава в береговой полосе примята и пожулькана, а сам берег размыт.

– Хотя мы и не знаем повадок океана, – ворчал старик, – но секреты нашей вонючей лужи нам известны. В неделю дважды вода в ней поднимается и опадает. Так-то, моряк.

Бекет с удивлением посмотрел на Жакыпа. Семь лет он прожил с ним бок о бок, но ни разу не слышал, чтобы тот по пьянке или просто так побахвалился бы, что служил подводником. Жакып никак не отозвался на слова старика, и Бекет решил, что старик, как всегда, заливает.

Но старик не оставил эту тему в покое:

– Я не говорю про танкеры, хотя ты вполне мог бы водить их. Но займешь одну из шхун, на которых каждая собака ездит, тебе сам Бог велел. А ты? – Он решительно забрал у Жакыпа свою дерматиновую сумку. Бутылки жалобно звякнули. – Нет, он шарашится по тайге с топором, комарье кормит.

Жакып и на этот раз промолчал. Лишь принахмурился, будто что-то царапнуло его по сердцу.

– Имеющий уши да слышит, – проворчал старик и не совал больше кочергу в его душу.

Жил Осип на бывшей заимке хромого егеря. Жакып не очень тосковал по родне – тем более по родственникам жены. С тех пор, как умер тесть, он здесь не был. А теща, слышал, вышла замуж, живет бог знает где, и бог знает где живут множество ее дочерей, работая на демографический взрыв в нашем отечестве. А ведь близко, дорого. Из новых построек появилась банька, что по-черному топится, да еще маячит зимовье в две комнаты, но они в стороне от старых сараев и клетушек. Бекету, впервые увидевшему заимку, она кажется если не раем, то пасторалью из канувших в прошлое доиндустриальных эпох. В самом деле: дом без ворот и ограды, скотина, что паслась без присмотра. Не говоря уж о косулях, что вышли стайкой из глубины двора. Даже гуси и куры, разгребавшие мусорную кучу, их суматошная и вольготная жизнь – все кажется чудом для горожанина,

который и барана, пожалуй, не видел вблизи. Когда чуть свет старик с Жакыпом подняли его и потащили сюда, на остров Робинзона, он артачился, не желая бросать свою мягкую постель на огромной кровати в гостинице. Теперь, раскрыв рот и робея, он смотрел на все эти чудеса, и у него было такое ощущение, будто он без спроса забрел в рай.

Старик суетился, не зная куда приткнуть свой узелок и дерматиновую сумку, а главное – не зная, как и чем ублажить гостей:

– Вам зайца зажарить? Или индюшку потушить в винном соусе? Только бы начальство не свалилось на голову.

– А что начальство? Тоже, поди, живые люди и не чураются простых человеческих радостей, – успокоил Жакып старика.

– Так-то оно так. Да не люблю я, когда все оно пьянкой кончается, – заклеил еще не объявившееся начальство старик.

Остров был размерами в бег стригунка. Равнинка длиной в пять-шесть километров и шириной вдвое уже. Трава по пояс. И не то чтобы болотина, но всё же сыро. Видать, здесь много мошкеры и комаров. Бекету показалось, что остров ниже уровня моря, и он, как человек, стоящий на плоту, вдруг почувствовал неустойчивость под ногами. Такое бывает с людьми, что много лет гоняют плоты. Смотришь на воду, и начинают кружиться верхушки деревьев, и кажется, что остров стремительно плывет против течения.

Жакып вошел в дом. И здесь всё по-старому. Всё та же на две комнаты русская печь, в переднем углу – двойные нары, а у входа – длинный стол и скамья. Не было разве что деревянной ноги хромого егеря, что лежала всегда у порога, да пятнистого спаниеля, он тоже лежал, бывало, у двери.

– А собаку чего не держишь? – удивился Жакып. Он уже успел раздеться и ноги размять.

– Собаку? А зачем? Если в доме есть баба, собака не нужна, – старик любил такие шуточки. Он уже открыл походя все клетушки и конурушки, насыпал корму тишайшим кроликам и шумливым курам, индюкам и гусям. – Собаки нынче стали бестолковыми. Нет чтобы людей кусать, они на скотину кидаются. Я тут привел было овчарку... Мне все толмачили, что овчарки умней человека. Так эта умница чуть не задрала косуль и кабаргу, а их – раз-два и обчелся.

Но тут же понукал гостей:

– А вы чего стоите? К делу подключайтесь, к делу...

– К какому делу?

– Дров нарубить – раз. Огонь зажечь – два. Индюшку общипать – три. Да баню надо затопить. Мне сюда электричество не протянули. Так что всё успеть надо засветло. А то не жравши останемся.

– Угу, понятно, – Жакып не возражал, но хотел уточнений. – Дрова нарубить – это мы мигом. Но печь затопить, индюшку распотрошить – это же тетя Маша все делает за милую душу.

– Так-то оно так. Да только тетя Маша в больнице. Не хочет, слышь, работать. Я, говорит, лучше буду болеть, – старик между делом нырнул под крыльцо, вытащил оттуда целый ворох рубах, правда, старых, и штанов, тоже ношенных, хотя материал был дорогой и даже редкий, что говорило о том, что это одежда, так сказать, с барского плеча. Что-то было чуть тесновато, что-то великовато, но в общем одежонка посправнее, чем та, что была на старике. – Бабы – они

народ безответственный. Всё на меня свалила. Оно, конечно, когда скотина под присмотром, а дом ухожен, можно и поболеть. Вот она и болеет. Уже два месяца не могу ее вымануть из больницы. Куда это годится? Быть у кержацкой бабы в батраках... А ну – наденьте одежонку попроще, чтоб не запачкаться. Или сперва пропустите по махонькой?

Он притащил дерматиновую сумку под камышовый навес. Вытащил бутылку «Каберне», но тут же отставил ее в сторону:

– Это на соус. Я ж говорю: индюк, запеченный в вине... О, то, что надо! – он подхватил бутылку «Экстры», хлопнул ее по заду, вышиб пробку. Кряхтя, признался: – Мне тоже... надо здоровье поправить. А то вчера у Мыкыржана, по правде сказать, мы не ленились. Всю ночь изжога мучила.

И он, будучи философом по натуре, обобщил ситуацию:

– Зарекалась свинья дерьмо не есть. А как дорвалась, так и не оторвалась.

Он пододвинул «Арарат» Жакыпу. И по тому, как старик аттестовал напиток, Бекет составил себе представление о питейных вкусах начальства, что наезжает сюда.

– Это пусть начальник пьет, такой напиток мои почки не переносят, – сказал Жакып и передал «Арарат» Бекету. – Кстати, познакомьтесь поближе. Так вот, дядя Осип: это главный лесничий нашего лесхоза...

– Э-э, свой человек, выходит, – оживился старик. – Я-то думал, что это калымщик, «дикарь». Ну что ж – вздрогнем?!

6

Вот когда Бекет проспори́л Жакыпу. Неумеха, никогда не державший в руках косы, он лишь махал впустую, сминая траву. Не вышло толку из его косьбы, а когда солнце поднялось к плечу, он уже выдохся. Работа была трудной, но еще труднее была ее безрезультатность. Скошенная им полоса была и не скошенной вовсе, она топорщилась волнами и как бы звала косаря назад. Он проклинал себя: не руки, а крюки! Ему казалось, что и Жакып его осуждает, и чтобы не видеть, как он мается с этой косьбой проклятушей, вообще отвернулся и молча, наклонившись до предела, не отнимает уха от звона косы и шуршания травы. А вообще-то у него всегда была привычка хмуро молчать за работой, он и прозвище свое «таскабак»¹ получил от Бескемпера за эту угрюмость в работе. Что бы он ни делал, работает как автомат, ни с чем не считаясь, незавершенки не признает. Сдохнет, а на завтра не оставит начатое сегодня. Такой уж характер, это в себе воспитать невозможно, это – с рождения и до гробовой доски. Он если выбрал дерево, пусть оно хоть на краю пропасти растет, он его срубит. Лесоруб он классный и косарь первостатейный. Вернется он в Аксу или нет? Бекет со вчерашнего дня ломал голову, в какую работу впрячь его в лесхозе. Работы невпроворот, хватит на всех. В лесхозе найдется место тысяче таких трудяг. Но сможет ли тысяча трудяг заменить одного Жакыпа?... Конечно, характер у него не дай Бог, не знаешь, с какой стороны подступиться, чтоб не обиделся, чтоб не воспринял участие в своей судьбе как подачку. Тут был, конечно, деликатный момент, о котором Бекет помалкивал, а Жакып, возможно, не догадывался... Короче, разговор пока не состоялся, и как к нему подступиться, Бекет не знал. Он сказал про Мишеля, что тот, мол, женился. Жакып никак не откликнулся. Сказал

¹ Тыквоголовый (таскабак – тыква).

про Бескемпир – про, то, что он на учебу уехал. Опять молчок. Сказать ему про Лесю, что она беременна? Ну, это уж совсем абсурд. Тогда уж скажи заодно, чей это будет ребенок, кто его отец. А-а, слабо? Тогда помалкивай. А вообще Леся меж ними как яблоко раздора, хотя оба ни за что не признаются в этом...

– Мне вот что интересно: старик заставил нас косить, а сам никак не может протопить баню, – Бекет явно устал, он искал уловку для отдыха. – Хоть бы на чай позвал.

– Во-первых, в бане днем не парятся, – Жакып говорил без укора, как бы сам для себя. – Во-вторых, дым не из бани – дым с пасеки. Он возле ульев колдует.

Бекет за дымом следил и ничего не увидел, а Жакып и головы не поднял, он спиной знал всё, что происходит на заимке. Можно подумать, он на этом острове уже прожил сто лет. Жакып остановился, невозмутимо вытер лезвие косы, взял в руки брусок, начал вжикать. Он будет, пожалуй, махать косой до вечера. А Бекет устал. И не от того, что переработал, а как раз от того, что работа не клеилась. К тому же он обалдел от сумасшедших запахов свежескошенных трав. Хотелось упасть там, где стоял, и хоть на несколько минут отключиться.

– Слушай, а зачем ему столько сена? Скотины у него почти нет, – пытался он деморализовать Жакыпа, но того не так-то просто сбить с толку.

– Нет скотины? Откуда ты взял? Да, на острове пять-шесть косуль. А лед как станет, всё зверье со всей округи потянется на остров.

– По-моему, уже обед, – продолжал гнуть свою линию Бекет и вдруг рассмеялся. Вспомнил Мишеля. Тот, едва заступив на работу, уже говорил про обед. «Мы тут косим, а он, кобелина, лежит, поди, в обнимку с молодой женой...». Бекет рассмеялся, а Жакып и ухом не повел, будто не слышал этого смеха. Он молча снял с себя рубаху, и обнаружился чугунный загар, и мощный торс, в меру волосятый, бусинки пота, что, отражаясь на солнце, блестели как роса. Но не в этом дело. Татуировка – ее Бекет видел впервые у Жакыпа на груди: справа – якорь, слева – сердце, в котором две буквы – «Ж» и «Л». «Ж» – понятно, Жакып. «Л» – любовь... Нет, «Л» – это Леся. Значит, старик не врал, Жакып действительно работал на флоте.

– Имей в виду, после обеда косить особенно легко, – сказал Жакып и снова взялся за косу. – Вообще, после обеда любая работа спорится.

Лезвие косы опять легко вошло в траву, но Бекет не пошел за ним следом. Буква «Л» смутила его. Смутило имя Леси, что пусть не полностью, а красовалось на груди Жакыпа.

... – Эй, Карашелек! Я дурь из тебя выбью, – Кара Дию стоял за спиной Жакыпа и тербил клочок травы, что по оплошности остался нескошенным. Тогда ему казалось: отец и вправду выбьет дурь, кулачищи у него по ведру. Теперь-то он понимает, Кара Дию его пальцем не тронул бы. И он не запугивал при этом пацана, а учил его уважать свой же собственный труд.

Когда Карашелек закончил восемь классов, отец сказал:

– Остальное доучишь, когда я умру.

И окончательно впряг его в работу. Он не подумал о том, что жизнь дается не только в личное пользование человеку, что наши способности и знания могут понадобиться не только нам самим, но и другим. А если бы подумал, то в его понимании вся земля и всё человечество – это дом, близкие люди, жатаки, наконец. Ну и затон, его жители, где он был царь и Бог, а далее того его мысль

не простиралась. Жизненное предназначение сына он представлял лишь в этих пределах. Да и сам Карашелек не мог тогда брать в расчет, что кроме Зеренды есть и другие города, а кроме Иртыша и Бухтармы есть иные реки. Надо было бы шире смотреть на мир, но время было тяжелое, послевоенное, мужчины в каждом доме раз, два и обчелся.

– Эй, Карашелек!

Жакып вздрогнул, так неожиданно было это к нему обращение. Оно опрокидывало его в далекое детство и восстанавливало порвавшуюся нить времен.

Осеке протягивал ему тусок:

– Пить хочешь? Здесь шалап.

Шалапом оказался заквашенный на корке черного хлеба квасок.

– Оно перед обедом не помешает.

Старик был и мудрым, и лукавым. Не зря окликнул он его полузабытым именем:

– Ну, вспомнил времечко золотое? Думаю, до вечера ты успеешь скосить деляну. Тут будет не менее гектара. А потом банька. Попаришься – помолодеешь на год.

Ох, эта мудрость стариков! Кара Дию, видно, чуял, что час его скоро пробьет, и торопил с женитьбой сына. Он до седьмого колена прошерстил все дома, где были девушки на выданье, и пришел к неутешительному выводу: все с ними состояли в том или ином родстве. Ситуация была тупиковая. С тех пор случилась целая жизнь, и те проблемы, так измельчавшие на расстоянии, ушли в немыслимо далекое прошлое. А минуло всего-то двадцать лет!..

Как только начинался сенокос, именно здесь, на этом желтом плоскогорье, две семьи раньше других ставили свои походные юрты, а уходили – позднее других. У Осипа, всё лето косившего травы, не то что скотины серьезной – ягненка засранного не было. А он косил и сена заготавливал немало. Кормежка на сенокосе была обязанностью матери Жакыпа. И каждый год, зарезав на согым бычка-трехлетку, Кара Дию часть мяса выделял семье Осипа. Но и не только это, Осип вытягивал железо как сыромять, а сыромятину умел выделывать как шелк. Зато Кара Дию умел выкрасить кожу, что краску ту не брали ни дождь, ни едкий лошадиный пот. Так что работали они, считай, одной артелью. Поход Кара Дию к степнякам, всегда нуждавшимся в упряжи и хомутах, в телегах и санях, приносил доход, которого хватало, чтобы прокормиться не только двум семьям, но и всем жатакам.

А ежели глубже коснуться теории вопроса, то обнаружатся связи если не родственные, то почти что кровные. Когда жатаки жили в землянках, Кара Дию первый обзавелся домом. А построил тот дом Тимофей, отец Осипа. Потом грянула Первая мировая война, Тимофей с войны не вернулся. Его вдова с детьми нашла приют под крылом Толеша. Дочерей Тимофея, когда те заневестились, Толеш выдал замуж, а с Осипом они остались жить одним домом. Ровесник отца стал как бы ровесником сыну. И первой невесткой, которую Кара Дию ввел в дом, была Маша, жена Осипа. Брак оказался, так сказать, продуктивным, Бог не обделил Осипа ни сыновьями, ни дочерьми, но все они переняли от отца его шибко беспокойную натуру и разлетелись во все концы Советского Союза, тоже нарожали детей, но ни одного внука пока не подбросили деду. Вот и кукует он один в затоне. Со старухой, которая, правда что, больше в больнице лежит. И Жакып сожалел, что у него нет ни сына, ни дочери, а то он отдал бы первенца Осипу, как это за-

ведено у казахов. Вот это и было, пожалуй, то самое слабое место, которое они оба обходили стороной, стараясь не бередить прошлое, потому как оно больно аукалось в настоящем.

– Господи, как тебя разукрасили! – Осип впервые увидел татуировку Жакыпа. – Оно, кажись, сейчас не в моде. Или по глупости?

Жакып молча надел рубашку, чтоб якорь на груди и сердце с вензелями не возбуждали излишнего любопытства. Бекет, ушедший прогуляться, вернулся, благоухая мятой. Он принес горсточку ягод, высыпал их на салфетку:

– Ну и клубника у вас! С перепелку величиной. А собрать некому.

– Это от избытка влаги. Она вызреть не успевает, гниет, – старик взял ягоду, продегустировал ее. – Голимая вода!.. Вот раньше была знатная клубника. Бывало, Яшка в сенокос как набредет на ягоду, за уши не оттащишь. Кара Дию ругается: не суй, мол, в рот чего ни попада. Он хоть и многому людей научил, но сам так и помер, кое-чему не научившись. Там до смешного доходило. Только из-за того, что куры в мусоре роются, он запрещал есть яйца и курятину... Ну, мы другого мнения, – и он пододвинул ребятам скудную закусочку: пяток яиц и хлеба ломоть. – А индюшка томится в духовке. И банька готова. Но банька, я думаю, вечером...

А солнце, как назло, торчало в зените и не хотело идти на закат. Жара допекала. А тут еще мухи и комары донимали. Причем Жакыпа и Осипа не трогают, а Бекета поедом едят. Бекет не выдержал, развел костерок.

– Яшка, а помнишь: твою свадьбу на этой поляне гуляли, – старика одолел словесный понос. А Жакып, задремавший было в тени, молча встал и ушел, будто и не к нему вовсе старик обращался. – Вот так, – подытожил Осип. – Говорят, немало глухой понимает... Так вот, свататься к хрому егерю Толеш послал меня, – и Осеке, будто все еще сидит на том сватовстве, лихо сплюнул в костер, задымил папиросой. – Жрать было нечего, но... Каждый двор притащил на свадьбу лагунок медовухи. На карачках, слушай, расползались... Эй, Яшка! Смотри, не лезь в море, чесотку подхватишь. Коли невтерпеж искупнуться, иди к роднику на северной стороне.

Жакып, увлекая целый караван мошкары, пошел к роднику, а Осип следил за ним своими васильково-синими глазами, которые, казалось, старость не берет. И Бекет заметил в том взгляде тревогу и сочувствие, и боль.

– Да-а... А покойный тесть его был ну такой безалаберный, у него на дне мешка мусор не залеживался. И скандалист был, и драчун. Ногой деревянной того и гляди двинет... И вот пришел я, значит, свататься, а Лесин отец заартачился: «За Жакыпа дочь не выдам!» Я и так подкатывался к нему, и эдак, а он – ни в какую! Да еще, слышь, замахивается на меня своей деревянной ногой. Я это изловчился, хват у него ногу, и бежать. Он до самого затона скакал за мной. Потом взмолился: «Черт с ней, берите девку. Только ногу отдай!» Так вот он и женился, наш Яшка. Кстати, как у них там... с женой?

– Да бог его знает.

Помолчали. Молчание было тягостным. Осип, прищурившись, смотрел на небо. Прикидывал, сколько еще будет морочить им голову солнце.

– Ладно. Пошел готовить баню.

Но тут застрекотала моторка, она вынырнула из-за мыска и явно держала курс на остров.

– Никак бабу везут? Только этого нам не хватало. Вот те и устроили мальчишник. Поди, кто-нибудь из местных бонз тащит токал на свиданку...

Бекет с безразличием смотрел на лодку. Какая мне разница, директор какой везет сюда свою зазнобу или дворник. А вот старик явно расстроился. Но лодка, хочешь не хочешь, уже подлетела к островку, высадила пассажира и рванула обратно в город, как бы опасаясь, что ее здесь могут тормознуть.

7

Вот уж кого они ждать не ждали, так это Лесю. А она никак не ожидала увидеть здесь Бекета. Лицо, озарившееся радостью от встречи со стариком, поблекло, когда она увидела Бекета. А старик и не заметил этого. Он не спеша, вразвалочку, как боровичок-моховичок, подступился к ней, сделал вид, что хочет облапать, она вспыхнула как маков цвет, рассмеялась, он чмокнул ее в щечку и уцепившись за руку, будто она может исчезнуть, сбежать, повел ее в дом:

– Ой, негодница! Забыла старика, не хочешь знаться, – он суетился вокруг нее, не зная, куда посадить, чем угодить. – Не заблудилась? А я, грешным делом, подумал, что это мол медведица катит. Чуть не сбежал!..

Бекет стушеввался, а на ее лице было смущенное удивление. С одной стороны эта неожиданная встреча с Бекетом, с другой – шибко уж непомерные восторги старика.

Бекет смотрел на старика, тот как блоха на аркане приплясывал, можно сказать, у подножия полной белотелой женщины, и это было без оглядки от той двусмысленности, в которую он, Бекет, попал. Леся за эти два месяца погрузнела, живот уже подпирал раздавшиеся груди, и вся она походила на стельную буренушку, которой предстоит первый отел. На лбу и на щеках проступили родильные веснушки, как оно и бывает у беременных женщин.

Бекет не стал заходить в дом, остановился у крыльца. Кроме неловкости, как ни странно, в нем шевельнулась совсем неуместная ревность. Зачем она сюда приехала? К нему? Она же не знала, что он здесь? А если знала, что ей нужно от него опять?.. Но так или иначе, а забеременела она – смешно, ей-богу, с самим собой в прятки играть! – не от кого-нибудь, а от меня, подумал он. Однако до чего же она изменилась. Он с трудом угадывал в ней почти исчезнувшую голубоглазую кротость и опьяняющую нежность, от которых немудрено было голову потерять.

Осип и Леся наперебой, взалхлеб и, главное, без передышки, говорили что-то друг другу. Удушливый, глухой кашель старика чудесным образом не мешал литься его говорку, почти непрерывному. Бекета мучило сомнение: заходить в дом или не заходить? Индюк у дверей, распутив свои багровые сопли, строжился на Бекета: дескать, чего тебе тут надо? Солнышко, притомившись на небе, зацепилось наконец-то за крону листвяка. И рябой петух, взлетев на плетень, объявил, что дело клонится к вечеру.

Тут, видно, и Осип вспомнил про баню, его сивая голова вынырнула из-за двери:

– А ты чего тут стоишь? У нас как-никак гостья, принимать, слышь, надо. А Яшки нет. Куда он запропастился?

Старик суетился сверх меры. Он с шумом-гамом загнал кур и гусей в сараюшку, ногой задвинул под крыльцо ненужные вещички, разжег огонь в тандыре, всё это впопыхах и разом. И вдруг остановился, как в столбняке, посредине двора, вроде как чего-то забыл, а чего – и вспомнить не может. Он прислушался к раз-

меренным звукам заимки, задумчиво сел на пенек и, увидев безмолвствующего Бекета, хмыкнул:

– Вот так вот: счастье не лошадь – по прямой дорожке не везет.

Старик, видно, подытожил свой разговор с Лесей. Бекет пожал плечами, а старик как-то вдруг по-особому глянул на него и вроде оцепенел, вроде догадка у него мелькнула, в которую он поверить не смел.

С приближением вечера из нор и щелей стали вылазить, прядя ушами, кролики.

– Чертово семя! – проворчал старик и запустил в них палкой. – Вокруг дома всё продырявили. Погибели на вас нет!..

– За что вы их так?

– Надоели. Одна крольчиха за лето знаешь сколько приносит крольчат? Полсотни – не меньше. Куда мне их столько?.. Ладно, лезь на чердак, бери веник. В баню пойдём.

На чердаке было душно, как в дезкамере. В ту духоту были словно вмурованы давно ушедшие времена, даже эпохи. Лежало здесь веретено, привезенное, поди, еще в прошлом веке из России. Лежали лапти. И даже деревянная нога из рассказов Осипа тоже покоилась на чердаке. Обливаясь потом, Бекет нашел в дальнем углу пару веников. Когда он спустился вниз, Осип, в пимах, в кроличьей шапке и тулупе, словно оживший экспонат с чердака, изготовился к баньке.

– Лесь! – крикнул он. – Казан на огне, все остальное найдешь. Тут нет дыры, чтоб ты знала.

Заскрипели ступеньки. Халат был тесен, но до чего ж она была ему желанна! И, оглушенный этим чувством, Бекет смотрел на нее, не зная, как жить дальше. А она, вспыхнув лицом, еще теснее стянула ладонью халатик на груди.

8

Запах скошенных трав дурманит голову. Ветерок на ночь глядя разогнал кошара и сейчас вытягивает душу из колодезного журавля, под сурдинку раскачивая его и чуть слышно поскрипывая им. Надо б опустить ведро в колодец, тогда б и скрипа не было, но то ли всех лень одолела, то ли никому это в голову не пришло. Осип – он сидел на медвежьей шкуре – видать, зазевался и пустил шептуна или, как говорят казахи, выпустил кошку. Покопался на Лесю – слышала, нет ли? – и сделал вид, что подтыкает шкуру под себя, чтобы не поддувало. Леся тоже сделала вид, что подкручивает фитиль керосиновой лампы, пытаясь притушить улыбку. Парни лежали у низенького столика и хмуро поглядывали в темноту, будто бы там бродил кто-то неведомый. В красных отсветах тусклой керосиновой лампы ее смуглое лицо отливало золотом, как переспелый апорт, что слишком долго был на солнце. Соломенно-желтые волосы, не заплетенные в косу, рассыпались поверх халата, и от каждого ее движения струились и как бы дышали, будя нескромные мысли у мужчин. Жакып набросил свою тужурку ей на спину, но тужурки едва хватило, чтобы прикрыть лишь одно ее плечо. Она так расплнела, так округлилась, что он с некоторой робостью даже смотрел на нее, с трудом узнавая в этой крупной, неспешно двигающейся женщине ту вертлявую девчонку, какой он привык ее видеть с незапамятных лет. Черты лица ее смягчились, в жестах появилась плавность, и не было ожесточения во взгляде, глаза смотрели с грустью и укором, в них появились жалость к людям и, пожалуй, неясная вина перед ними. И странным образом Жакупу хотелось разделить ту вину, взять частичку ее на себя.

На дастархане появился самовар, пышущий жаром, а рядом – самар, березовая чаша, в которой томилась та самая индейка, что была приготовлена в винном соусе, в пьянящих парах «Каберне». Индейка оказалась величиной с небольшую овечку, лежала она в оперении зеленого лука и в бархатистой оправе укропчика. Уже от одного ее вида в парнях разыгрался зверский аппетит. Они сидели, не смея наброситься на блюдо. А хозяин застолья, распаренный баней, слегка охладил жар души своей стаканом медовухи, пододвинулся вместе с медвежьей шкурой к столу и, придирчиво рассматривая индюшку, еще потянул время, доведя гостей чуть ли не до иступления. Подрумяненную картошку, что дополняла основное блюдо, он сдвинул в сторону, поковырявшись вилкой, выбрал и отбросил прочь лавровые листья. Затем ложкой попробовал на вкус подлив, посмаковал его с угрюмым видом и, наконец, взялся разделять индейку, вручая каждому из присутствующих ему причитающуюся долю. Одну ложку вручил Лесе, другую, как почетному гостю, Бекету. Жакыпу просто дал команду:

– Налетай, беднота. Нападай.

Мясо таяло во рту как мед, таяло до костей. Жакып, у которого хватало терпения держать себя в узде, приналег на еду, пропуская время от времени по два-три глотка «Арарата». Бекет не отставал от него, да и Осип вспотел от усердия, трудясь за дастарханом. И вообще обосновался он капитально, собираясь, как видно, пировать до третьих петухов. Не случайно же с такой привередливостью выбирал место для пирушки: в доме, дескать, душно, во дворе навозом пахнет. Вот и раскинули они бивак бог весть где, но костерок дед Осип разложил по высшему разряду: щепу лиственницы запалили отдельно от сосновых полешек – там был какой-то свой расчет, понятный одному лишь Осипу. Теперь, за столом, он решительно отверг медовуху, равно как пренебрег и коньяком. Дед общался только с «Экстрой».

– На эту курицу надо выдать авторское свидетельство, – сказал Бекет. – Это не еда, а цветомузыка.

– Куда уж нам! – заскромничал старик. – Много ль нам надо? Стопку водки да какой-нибудь закусон.

Все наелись от пуза, но предстояло еще чаепитие, от которого не увильнуть, потому как – традиция, а ее надо чтить. А за чаепитием, опять же по традиции, надо говорить разговоры всякие, умные и остроумные. И уже за полночь, когда обалдеешь от выпитого, съеденного, сказанного и услышанного, можно воздать наконец-то хвалу хозяину дома и свалиться в долгожданный сон.

Городские огни, казалось, подступили к самому острову и прикорнули тут на ночь. Лишь свет маяка, как глаз кошачий, вспыхивал во тьме и гас, тревожа дрему ночи. Старик уставился в небо, блуждая взглядом в лабиринтах созвездий.

– Сколько вам лет, Осеке?

– Да семьдесят с гаком.

– Ну, это мы уже слышали лет десять назад, – сказал Жакып, как бы уличая старика во вранье. – Зажимаешь, дед, возраст. Молодишься. Помирать не охота?

– Ой, десять лет меньше, десять лет больше, кому какая разница! – отмахнулся старик. – Помирать, конечно, неохота. Да и на кой ляд помирать?

Старик вроде даже обиделся на Жакыпа. Но тот скovyрнул пробку еще у одной «Экстры», достал из кармана горсть кедровых орехов, всучил их в ладонь старику, налил по новой, и старик сменил гнев на милость, одарив их байкой по случаю.

– Мой дед Евсей помер в сто десять лет. И то не потому, что так было богу угодно, а сам себя, можно сказать, на тот свет отправил, – старик отчего-то опасливо покосился в сторону бани. – У него было, как говорится, двадцать ртов с ложкой, а он один с сошкой. Двадцать первым объявился я. Старик снял с себя последнюю рубаху – мне на пеленки, накрыл единственной шубой мою люльку и в баню отправился на радостях. Да, ушел, значит. Нет и нет его, нет и нет. Когда отец сунулся в баню: чего там запропастился старик? – тот уж отдал богу душу. Дверь прикрыл, дымоход заткнул и помер от угара. Так что все годы, что дед не дожил после ста десяти лет, он мне оставил. Но, во-первых, мне надо самому до ста десяти дожить. А во-вторых, у меня пока что пять сынов и пять внуков. Хошь не хошь, а надо еще десятерых дожидаться. Так что положение безвыходное. Правда что, после бани мне каждый раз страшновато: а ну как дед за мной придет? Я, значит, помолось и дверь у баньки покрепче запираю на засов. По моим подсчетам, мне надо еще лет сорок ждать встречи с моим дедом. Понял? Вот за это давай и выпьем. Что косоротись?

– Да вот думаю: а не попариться ли нам с тобой в баньке еще раз? Поди, печь не выстыла...

– Подь ты к лешему!

– Боишься, значит?

– А ты думал как? – старик опять опасливо посмотрел на баню, темневшую в ночи, будто бы там и впрямь маячил дед Евсей. – На тот свет мы успеем. Сказать по правде, я на этом только-только начинаю жить. Я ведь до сих пор не жил, а волохал, вкалывал. Столяром, плотником, жестянщиком. А вот как море к нам пожаловало и земля стала уходить из-под ног, я и ухватился за этот островок. Вспомнил, что предки мои, мужики из России, искали Беловодье, землю обетованную. И не случайно, поди, остановились здесь, на Бухтарме. Вам это ничего не говорит? А песни про Беловодье слышали? А сказки вам бабки сказывали? Забыли? Эхма, что вы за народ: пуп у вас в городе отрезан, глаза глядят в степь, а ноги разбежались на все четыре стороны...

Леся уже несколько раз подходила к нему в нерешительности, пытаясь о чем-то спросить, и стало ясно, что ее заботит: кто и где будет спать? Оно, конечно, остров этот – кусок земли обетованной, и старик тут – богатеи из богатеев, но вот постельного бельяшка, извините, нет. Так что:

– Мужикам хватит сеновала, а сама... сама смекни, где тебе спать.

Когда петух, глашатай летней зорьки, прохрипел в курятнике чуть свет, все трое разом встали. Остров словно бы плавал в море огней: здесь, на земле, его окружали огни города и прожекторы пирса, сверху сверкал ясный месяц в россыпи ясных звезд. И сам остров посреди темной воды с отраженными в ней струистыми огнями казался полупрозрачным лоскутом ткани, напитанной светом. Огни гасли, земля становилась темней, и остров уже походил на спину кита, выступающую из водяных пучин, а потом и вовсе он стал подобен стремительной подводной лодке, мчащейся противу воли. Жакып уловил знакомый запах моря, ему даже показалось, что он чувствует привкус соли на губах.

Море потеряло свой дневной уровень. Привязанная к длинному аркану черная лодка лежала на берегу, едва-едва касаясь носом воды. От скользкого берега тянуло запахом ила. А ведь когда-то берег этот всю ночь благоухал росой, и с поймы Бухтармы струился прохладный зефир... Сейчас от Бухтармы несло сыростью, а вместо зефира ветерок доносил городскую копоть.

Из-под черной сосны пронзительно свистнул кулик-табунщик. Лохматая казачья шапка сеновала накренилась под луной. В окне зимовья зажглась лампа, но тут же погасла. Жакып понял: Леся ждет его. Но идти ему к ней не хотелось. А в юности с каким, бывало, нетерпением он ждал вожделенного мига, когда погаснет лампа, когда уснет хромой егерь. В темноте он подкрадывался к зимовью и, привязав поводья к передней луке седла, ставил под стог вороную кобылу... Да, стали забываться те ночи, когда он возвращался отсюда в такой же ранний час, с первыми петухами... Среди ночи смотрел он без усталости, когда потухнет лампа в окне заимки, и едва угасал огонек, Жакып, крепко зажмурив глаза, ждал шелеста скошенной травы. Девичьи уловки были нежны и наивны. Если не удавалось поднять ее на стог, она поминутно пугала тем, что уйдет. Он жадно прикивал лицом к ее платьицу. Она приносила с собой то запах борща, то запах жареной картошки. Ах, какой она была сладкой в то время!.. Она подвизывала подол сарафана, чтобы не намочить его о росные травы, а свои белые холодные ноги, выкупавшиеся в росе, прятала Карешелеку за пазуху и, крепко обняв его, утыкалась носом ему в грудь... С родителями у нее отношения были сдержанные, если не сказать больше. С детства у нее не было никого ближе Карашалека, он был ей как брат, и она никогда не прятала своего тела от него, как от мужчины. Пока она не переступила порог его дома, она и знать не знала о той тайной жизни, которая бывает за занавесками. В их тоске каждодневной друг по другу не было вожделения, хотя именно от него, от Жакыпа, она услышала впервые, что должна стать его женой, и при этом его не оттолкнула. Когда между ними впервые произошло все это, она не думала даже, что это предосудительно.

В одну из таких лунных ночей он сказал Лесе:

- Меня скоро в армию заберут.
- А я с кем останусь?
- А ты к нам перейдешь.

Она подумала немного и согласилась.

- Ладно. Только давай подождем, пока отец мне новые ботинки купит.
- Да? А босиком нельзя?

Она под села на вороную кобылу без седла. Он босиком вошел в дом Кара Дию. Жатаки были недовольны.

А Кара Дию сказал:

- Поступок не мальчика, но мужа.

Он долгим, пронизательным взглядом посмотрел на невестку:

- Таких беляночек у нас еще не было.

Вздыхнул:

- Может, от нее как от жены и не будет особого толка...

И улыбнулся:

- Зато она добрая.

И благословил.

Жакып не стал вникать в отцовские слова. Отец не оттолкнул ее, отец ее принял. А для Жакыпа она с детства была... ну, почти как родня. Не чужая. Вместе выросли, воздухом одним дышали, одними пропитались запахами. Он и не предполагал тогда, что может наступить такое отчуждение. Что было между ними? Детские мечты, ребячьи грезы. Невинные восторги под луной. Разве тогда, лежа на стогу сена с доверчивой девочкой, он мог хотя бы на миг допустить, что ког-

да-нибудь звезды над ним потускнеют, день обесцветится, а любовь женщины к человеку, которого знаешь вдоль и поперек, превратится в привычку, а потом и в тяжелую обязанность.

Они прожили полгода, не успев по-настоящему открыть друг друга, проникнуться той тайной радостью, которой одаривает истинная близость мужчину и женщину. Он ушел в армию. Четыре года на подводной лодке. И все эти четыре года жил ожиданием встречи. Тоска была настолько острой, что он, пожалуй что, ни чуял боли, когда иглой выкалывал ее инициалы и клятву верности и любви. Известие о смерти отца было тяжким, но даже оно не шло в сравнение с тем анонимным письмом от доброжелателей, в котором сообщалось, что жена его ушла из дома и загуляла, пошла по рукам. Он сам себе казался псом, которому сломали хребет. Он стыдился смотреть в глаза людям. Он решил навсегда остаться во флоте. Жаль было мать, что умоляла его вернуться, закрыть ей усталые очи, дать умереть по-людски. Но доконала его отборочная комиссия: его списали подчистую, признав негодным к службе в Морфлоте. Такое редко, но бывает. В двадцать пять лет он вернулся домой не то чтобы инвалидом, а много хуже инвалида: он был непригоден для постельных услад. И это в двадцать пять лет! Такой вот тяжелый крест суждено было нести ему до конца его дней. В армию он ушел наивным мальчиком по имени Карашелек, а вернулся мужчиной с горьким именем Жакып – мужчиной, которому недоступны простые мужские радости. Кроме Леси, об этом никто не знал. А боль и муку, что носил он в себе, – кому их доверишь?..

Он успел на похороны матери. Она успела глянуть на него в последний раз: «Храни тебя Аллах!» Но о Лесе – ни слова. Людскую хулу и сплетни – всё унесла с собой в могилу тем пасмурным днем октября, когда схоронил ее бок о бок с отцом. В тот черный день кроме Осипа никого рядом не было.

Осиротел отчий дом, душа осиротела. А Леся, сказывали ему, ушла к родителям. Вернуть силком? Нет, не годится. Но душа стенала в одиночестве. И снова пошел он к хромому егерю – пошел будто свататься снова, желая хоть краем глаза глянуть на нее.

– Забирай свою бабу! – с порога накинулся тесть. – С меня довольно ее семерых, есть кого караулить! А не хочет идти, уведи на аркане, сдери с нее шкуру. Пусть не урысит, как телка в охоте. А то взяли привычку – тереться о каждый встречный кол.

Леся потупилась только, никак не отозвавшись на слова отца. Жакып вглядывался в свою жену и не узнавал ее. Четыре года назад он расстался с наивной девчонкой, красневшей кстати и не кстати. Сейчас перед ним была дюжая, ладная женщина, знавшая цену себе и людям. Правда, движения были несколько скованными, а смех – деланным, и ни стеснения, ни румянца стыда. От нее исходил чужой запах – настолько чужой, что у Жакыпа мороз прошел по телу и волосы на загривке вздыбились.

Не один Жакып пришел за Лесей. Нос к носу столкнулся он с Петькой Анисимовым, закадычным другом, тот тоже пришел, зажав пару бутылок под мышкой. Когда-то были они вдвоем грозой околотка, в страхе держали танцплощадку затона. Теперь вот столкнулись на узкой дорожке. И хоть распили они бутылку за встречу, но кошка между ними пробежала, причем – черная кошка! Однако до выяснения отношений дело не дошло, на потом оставили.

А на другой день спозаранку объявился егерь хромой на телеге, запряженной быками. Лесю привез к ее мужу. Он так ее избил, что места не было живого:

– Это я для острастки. А ну как ты сам не решишься!

И пригрозил дочери:

– Сбежишь отсюда – убью.

Что уж там говорить! Она кинулась к мужу, как к единственному своему спасению. Угрозы отца подействовали? Едва ли. Она сама стосковалась по Жакыпу, он был ей родней всех родных. Смирилась и с тем, что он бессилен, и с тем, что сама остается бездетной, хотя ей бы в самую пору рожать. Тоже молча несла свой крест, оставаясь невозмутимой и ровной, надеялась, что хотя бы так будет опорой мужу, скрасит ему жизнь. Она и не подозревала, как это важно для него.

Так он и жил по принципу «куда кривая вывезет» пятнадцать лет. И остался, по сути, ни с чем. Отчий дом идет под снос, деньги, которые греб лопатой, лопатой и разбрасывал. Хотел жену хотя бы деньгами утешить, но, видишь ты, не в деньгах счастье... Он страдал из-за Леси. Он и в тайгу ее увел от Петьки Анисимова. Тот ведь что? Тот с женой разошелся. Любил Петька Лесю. Но и Жакып тоже любил ее. Ах, как он любил ее! И как ревновал!.. Когда он увидел, что она забрюхатела, подхватила добычу от прохожего молодца, он чуть с ума не сошел. Готов был прикончить ее, только б она не досталась другому. Но что значит прикончить? Отдать ее смерти? Шиш с маслом! Никому ни за что он ее не отдаст. Только сейчас, в сорок лет, он понял, что такое – любовь до гроба.

Тень сеновала под луной укоротилась. Луна блестела в окошке зимовья, отражение луны слепым немигающим глазом смотрело на Жакыпа. Поодаль замерли, оцепенев, черные сосны. Глухая тишина. Лишь кровь шумит в ушах, да голова кружится.

Он смотрел на предрассветные огни родного города. Глазами искал затон. Где она там затерялась, пыльная улица жатаков?.. И мнилось ему: скачет, оседлав хворостину, несмышленьш Карашелек, а следом, не спеша, вышагивает вороная кобыла, и едет верхом на ней Кара Дию. Мать пригорюнилась, смотрит им вслед. Внутри всё замерло, и на глаза навернулась горячая и горькая слеза.

9

– Где вырос?

– В городе.

– А родители откуда?

– Наверно, от верблюда. Тоже городского.

– Ну-ну... Все вы остры на язык. И что же доброго дал тебе город?

– Кто его знает?.. Что всем, то и мне. Детсад да школа, тут и детство мое, тут и юность. Ну, институт закончил – правда, заочно. Жил здесь, учился там.

– Богатая, слышь, биография.

– А это как у всех, ничуть не беднее.

Такой, значит, разговор философский, за жизнь, у Бекета с Осипом – на стожке да под утро.

– Свят, свят!.. Ты-то что здесь шарисься? – всполошился Осип и потянул из-под Жакыпа край шубы, которой тот пытался прикрыть озябший бок. – Я думал, ты в доме спишь. И чего людям не спится ночами? Никак места себе не найдут...

И старик опять повернулся к Бекету:

– Тоже мне, горожанин!.. Лезет в волки, а хвост собачий. Ты хоть сто раз назови себя интеллигентом, но у тебя душа не горожанина, а степняка. Это неистребимо. И слава Богу! И ничего я тебе объяснять не буду. Проживешь с мое, сам поймешь, что к чему.

Ай да Осип! Ай да академик!.. Жакып невольно поднял голову, чтобы лучше услышать, что там мелет старик:

– И где ты всё это вычитал, старый? В какой энциклопедии?..

– В какой? В обыкновенной. А называется она – земля-кормилица, матушка наша, – сердито ответил старик. – Ты заметь: тот, кто ближе к земле, кто не уродует ее, а лелеет, у того и корень крепче, и потомство здоровей. А тот, кто грабит ее, кто шастает по ней, как перекасти-поле, у того ни кола ни двора, ни бабы, естественно. А без бабы откуда могут быть дети?

Старик гнал вроде чушь, но была в тех словах несурзных какая-то странная правда. Он не хотел задевать Жакыпа, но невзначай задел, пошел на попятную, начал молоть что-то совсем уж из церковных книг:

– Земля – она святая. И у людей, землей вскормленных, лики светлые, душа-совесть чистые. На готовое человек такой не зарится, нет в нем подлости, и жизнь его проходит в трудах и молитвах, – старик, никак, заговариваться начал. – По-сейчас помню, покойная бабушка лелеяла каждый куст картошки, как квочка, выпаривала его. Не давая коснуться лопаточупочкой, рукой, по штучке по одной, по картофелине вытаскивая из земли клубни...

Он закашлялся, сел на корточки, скрипя суставами.

– Ведь сыпется весь как труха, а собирается сто двадцать лет прожить! – расхохотался Жакып, грозя порушить сеновал.

Старику крыть было нечем. Он лишь тяжело вздохнул:

– Это я от безделья чахну. Стоит день не поработать, суставы сводит.

Бекет удивленно глянул на старика. Тот, сопя, вытаскивал бешмет, что лежал у него в изголовье. Лысина Осипа могла поспорить блеском своим с луной. Он ведь за день на минуту не присел, и это называется бездельем?.. Старик нащупал в бешмете папиросы и спички. Как муравей, таскавший мусор, расковырял труху под боком, сделал дырку. Сперва в ту дырку послал плевок. Прислушался. Когда услышал, как шлепнулся оземь плевков, закурил.

– Ну вот: теперь, пока весь пол не забросаешь окурками, спать не дашь, – проворчал Жакып. – Тогда копти сильнее, чтобы уж быстрей...

– Ты меня на преступленье не толкай. А то как бы назавтра от вас одни головошки не остались, – старик аккуратно ссыпал на ладонь пепел от папиросы и уж потом отправил его вниз по этапу.

Где-то рядом на верхушке лиственницы заплакал козодой.

– У, мать твою, – ругнулся старик. – Как заболела старуха, так и торчит тут эта тварь, не улетает отсюда.

Бекет не поленился, встал, нащупал какую-то палку, запустил ею туда, откуда доносился плач, и палкой той как бы заткнул пасть козодою.

Старик посидел, повздыхал:

– Нет, всё же быть какой-нибудь утрате.

– Типун тебе на язык, – окоротил его Жакып. – Сидишь тут как бирюк на острове, полаяться не с кем. Вот и взъелся на безответную птицу. Пока не одичал, может, в город подашься?

– Дался вам этот город... – старик снова сплюнул в дырку. – В городе у человека одни только мысли – о деньгах. А деньги что? Как девки гулящие: придут – уйдут.

– Тебе-то что? Пока ты дотянешь до своих ста двадцати, деньги, поди, исчезнут, – опять поддел его Жакып. И поскольку сон не шел, он тоже протянул руку за стариковским «Прибоем». – Ты вот как барин устроился на вонючей медвежьей шкуре и нос воротишь от городского комфорта...

– И ворочу! – старик опять плюнул в дыру. – Чего стоит одна пепельница!.. Город высосал из деревни все соки. Но попомни слова мои: люди вернуться к земле, потому как земля – кормилица, – и он начал как-то очень уж тщательно сметать труху с медвежьей шкуры.

– Вот-вот, ты еще дырку для сортира проруби. Здесь, рядом.

– А тебе никак приспичило? Может, горшок принести?

Заскрипели двери зимовья. Слышно было, как человек на крыльчке зевнул спросонья, почесал себе бог знает что и бог знает где. Ушел вглубь двора. Лесе тоже не спится.

– Что-то не нравится мне это лето, – проворчал старик. – Ни одного дождя...

Небо пенилось от звезд, небо кишело звездами.

– Помню, точь-в-точь такое небо видел я мальчонкой, лет семьдесят тому назад...

– Ты еще вспомни, как писал на луну, – откликнулся Жакып.

– Вот уж правду говорят: язык без костей. Ты помолчал бы, что ли? – приструнил его Осип. Бекет был тоже удивлен: Жакып слыл за молчуна, из него слово порой клещами не вытянешь. А тут, смотри-ка, разговорился. Старика понять можно, он специально втягивал Жакыпа в разговор, чтоб тот не уходил в себя. Но зачем же хамить?..

Слышно было, как Леся вернулась на крыльцо, призадержалась на ступеньках. И, помолчав, ушла в дом. Дверь опять заскулила, куснув порог. И снова – тишина. По каким-то неуловимым приметам Бекет понял, что женщина злится, что женщина раздражена, что тело ее переполнено негой и тоскует, поды, по объятьям мужским. А Жакып зевнул демонстративно и набросил на лицо берет: не мешайте, дескать, мне спать.

– Небо и вправду было точь-в-точь как сейчас, – старик не хотел уступать поля боя. – Нынче когда началась жара? Если через сорок дней с ее начала не выпадет дождь, быть джуту. В тот год, я помню, жарница вылизала начисто всё побережье Бухтармы. Ни скотины не осталось в домах, ни зверья в тайге. И все как есть – и жатаки, и кержаки – сбежались сюда, в Зеренду. Единственная кляча наша сдохла, отец на себе тащил таратайку от Аксу до этого затона.

– Постой, из которого Аксу?

– Как это – из которого?

– Да у нас тут что ни аул, то Аксу, что ни речка – опять же Аксу. Наши предки забуксовали на этом слове.

– Давай, вали на предков. Затмение солнца случится – тоже виноваты предки? Да они из всех сил выбивались, чтобы добраться до этих-то мест. Для них не где-нибудь – тут была земля обетованная.

– Ну, добрались они... дошли пешком от Аксу до Зеренды... пропоем им славу.

– Нет, лучше обгавкаем! – старику тоже шлея под хвост попала. – Ишь, умники какие выискались! Люди жизнь свою положили на это... Хребтину ломали, чтобы отвоевать у судьбы и землю эту, и лучшую долю...

– Угу, значит, Аксу – земля обетованная, так? А чего ж вы спрятались здесь, в затоне, пропахшем болотиной?

Вопрос вроде простой, но крыть старику было нечем. Он, не нашарив «Прибоя» во тьме, высморкался зло и затих на время. Жакып, поняв, что заядлый курильщик не прикроет свой дымоход до утра и спать не даст никому, нарочно припрятал папиросы. А дед рассерчал не на шутку, одну за другой чиркал спички, все искал папиросы, брови его зло топорщились, глаза смотрели колюче и холодно.

Жакыпу стало жаль дедулю. И он решил отшутиться:

– У тебя здесь на сеновале комфорт, конечно, полный. А вот буфета нет.

– А-а, выпить захотел. Тебе что – мало одного буфета... который дрыхнет в доме? – отбрил старик нахала, имея в виду, конечно же, Лесю.

Жакып пропустил это мимо ушей, снова хмыкнул, не зная, как задобрить деда. Тот почувал маневр и тоже сманеврировал:

– А вообще-то – сколько тебе лет? Ну что ты супротив меня?

Дескать, щенок, а тоже что-то вякаешь. Жакып молча спрыгнул с сеновала. И угодил в бочку с водой.

– Так тебе и надо! – злорадно прошипел старик, ликуя, будто душа его вознеслась на джайляу.

Дверь зимовья опять простонала, скрежеща и рыдая. И умолкла. Теперь уже до утра. Господи, только бы он не вернулся!.. Теперь переживания старика сосредоточились на этом.

– Я в его годы по всей ночи бабе не давал покою.

Вообще-то Бекет недолюбливал такие откровения. Конечно, внешне марку он умел держать, но был скован в речах-разговорах и мог лишь вежливо внимать болтовне старика. А тот поведал ему, что хочет на родину в Аксу уехать, и ежели помрет до срока, то желал бы он одного, чтоб достались ему два метра землицы заветной не где-нибудь, а в Сундетсае. Ну, дети едва ли его похоронят, на это он мало надеется, но чтоб народ собрался у его могилки, чтобы всем миром хоронили, вот ведь о чем мечтает человек...

Бекет, видать, задремал. Проснулся он от дурацкой в общем-то фразы старика:

– Слышь, Яш! Твой «Арарат» пожиже чая моего.

– Куда уж ему, «Арарату», до нашего чая!

Значит, Жакып вернулся и помог старику дернуть рюмку.

– Ты так и будешь до утра дымить?..

Старик и вправду выпустил дым из ноздрей, закаменел от наслаждения, задрал подбородок к небу. Комары никак не унимались, зудели у Бекета над ухом. А тут еще кузнечики принялись стрекотать, взяв сеновал в кольцо.

– Ты вот спускался вниз, и чего тебе стоило расщуровать угли в костерке, дымок пустить? – ворчал старик умиротворенно.

– Ты меня и без того закоптил.

– Ну, дались тебе эти папиросы, – старик задумчиво потряс полупустую пачку. – Слышь, парень, а может есть какой-то потаенный смысл в том, что Евсей помер от угара? – старик закашлялся, испуганно глянул в сторону бани.

К благоуханию скошенной травы примешивалась вонь болотной сырости, небо давило духотой, а та духота была как дыхание алкаша, что перебрал бормотухи. У деда Осипа заломило в висках и участилось сердцебиение, он расстегнул рубаху

до пупа и посмотрел исподлобья на пузырь «Арарата» в руках Жакыпа, будто всё зловоние в мире идет из горлышка этой бутылки.

– Оно, конечно, на вкус и цвет товарища нет: одному нравится утка, другому – незабудка. Смекаешь? Одному нравится поп, другому – попададя, – старик с отвращением сплюнул в свою «пепельницу». – У меня бабушка, когда помирала, матери шепчет: мол, дай глоток чаю. Какой там, к лешему, чай, если мы в самый раз перли на себе таратайку. Мать кинулась к ковшику, чтобы воды дать умирающей. А ковшик был привязан на задку таратайки. Так вот пока она ковш отвязывала, бабушка дух испустила. Я что запомнил? Она всю жизнь босая ходила, ноги у нее торчат как саксаулины, а подошвы черные, черней угля. Отец вроде даже обрадовался, когда она померла. Это называется: баба с возу, кобыле легче. Кобылы-то как раз и не было... Он ее завернул в рогожу, ямку на обочине дороги вырыл, да неглубокую, а так – чтобы сверху землей забросать. И закопал бабушку. Мне потом долго казалось, что ноги у нее торчат не только из рогожи, но и из могилы. Жуть берет, слушай. И до сих пор я будто в долгу перед ней. Виноват, и всё тут. Не знаю в чём, но – виноват.

Бекет как бы воочию увидел и крутую горную дорогу, и таратайку с жалким скарбом, ее мужик вместо лошади тащит, и сухие ноги с черными подошвами, что из-под рогожи торчат.

И так это всё ясно увиделось Бекету, что мороз по хребтине продрал, он даже плечами передернул. Жуть, да и только!..

– Дом сгорел, слышь, дотла. Если б не бабуля, мы, голопузые, тоже сгорели бы. Она из огня нас вытащила. Сама обжарилась как головешка, с того и померла... А перед тем был голод. Она загонит нас на печь и начинает зубы заговаривать. Всю зиму нас и откармливала сказками. Есть, говорит, земля обетованная, Аксу. В лесах полно зверей, реки рыбой кишат. Палку ткнешь в землю, дерево вырастет. И ни господ, ни царей. Народ вольный. Такая, значит, сказка...

– Но у нас на Алтае что ни шаг, то Аксу. Выходит, он весь, из края в край, земля обетованная?

– Может, и так... Люди сюда испокон веков бежали в поисках лучшей доли.

– А говорят, из-за Аксу резня была, побоище целое?

– Да много чего говорят. На чужой, слышь, роток не накинешь платок. Спор за землю, конечно, был. Добром он бы не кончился. Но переселенцы от каждого очага своего отдали казахам по одному грудному младенцу. Два народа могли бы сцепиться как враги, а они породнились. Русского младенца мать-казашка вскормила грудным молоком...

– Слушаю я тебя, Осип, дерешь ты горло за Аксу. А зачем же в тридцать седьмом году ты драпанул оттуда – да так, что пятки сверкали?

– А не стыдно тебе вопросы задавать такие? Ты что – с луны свалился? Или дурачком прикидываешься?..

Луна, зацепившись за кромку леса, стала таять, тускнеть. И море затаилось на рассвете. Закричала косуля, отбившаяся от стада, и разбудила вездесущих воробьев. То-то гвалт поднялся!..

Заскулила дверь избы, и ядреная молодка на сносях появилась на крыльце, сладко потянувшись, молвила нараспев:

– Яш, а, Яш! Глянь, уже рассвело.

– И вправду – ночь побоку, – зевнул старик Осип.

Тучи были как рваные кошмы – никакого толку от них. Простучали реденьким дождем и как шкодливые воришки смылись, оставив после себя чадящий пар вонючий над землей да вроде как в кипятке сварившиеся травы. То было погибелью зелени, погибелью тайги. И город, будто на смерть обреченный, тоже задыхался в поту и запахе горелой резины.

Бекета ждал с шести часов утра, а тот – ну как сквозь землю провалился. Жакып обшарил весь затон – нет Бекета. Вошел в парикмахерскую, сел в свободное кресло. Над ним нависла парикмахерша, не женщина – телка:

– Что будем делать? Польку, полубокс или...

– Или, – разозлился он.

– То есть?

– Бритва есть?

– А то как же!

– В руках ее держать можешь?

– Могу.

– Тогда брей наголо.

Она испуганно сказала: «С удовольствием!» – и разделала его под орех. Из зеркала глянуло чудище с торчащими ушами – чудище, в котором он без труда уловил сходство – с кем? С Кара Дию, с кем же еще!.. Твердым шагом направился к выходу. За спиной что-то грохнуло. Глянул через плечо. Телка зашлась от смеха, рухнув в кресло, но, увидев его бешеный глаз, в страхе побледнела. Думала, побьет...

На улице ветер опахнул его голову, тупая боль в затылке вроде бы прошла. От нечего делать заглянул к Мыкыржану, обмакнул усы в кружку с квасом. Квас был отменный.

А пирс опустел. На барже, груженной песком, кто-то спал, выставив брюхо. То ли с похмелья, то ли сраженный жарой несусветной. На воде у полосатого красного буя телепалась лодчонка. Какой-то рыбак, очумевший от духоты, обалдело смотрел на поплавок. И в этом замороченном царстве как чудное видение на берегу смотрелась одинокая девичья фигурка. Девушка была хрупка и воздушна, в белой шляпе, в кружевном белом платье, и даже босоножки на ней были белые. Она со страхом посмотрела на Жакыпа. И в целях самозащиты позвала к себе своего стража, лохматого пуделя. Разумеется, тоже белого и кружевного, как и его хозяйка. Полное отсутствие загара, кричащая белизна рук и ног указывали на то, что купальщица явно не из местных. Демонстрируя свою неприступность, она сделала вид, что не замечает Жакыпа. Хотя, как бы она ни гоношилась, а избыток косметики на лице выдавал ее с головой: засиделась красавица в девушках. И Жакып рубанул ей без обиняков:

– Что – не ловятся?

– Кто?

– Женихи, кто ж еще!

Она заносчиво фыркнула. Пудель заскреб задними лапами песок и тоже заносчиво твякнул. Ай да защитник!.. И я тоже хорош, подумал он о себе. Ну, оболванили меня, ну, стал я страхолюдным. Но разве это дает мне право быть наглым и маленьких обижать?.. И тем не менее, остановиться он уже не мог. Как бы в пику незагорелому, томящемуся под слоем пудры лицу девицы, в пику ее

хрупким бледным ногам и рукам он выставил напоказ свой забронзовевший от солнца торс, тяжелый и крепкий, как чугунное литье. Внаглую разделся рядом с ней и одежду повесил на солнцезащитный грибок, под которым она сидела. Девушка поджала губы и отвернулась, не проронив ни звука. Лишь платье одернула, пытаясь подолом прикрыть колени. А ноги у нее вполне на уровне, подумал он, очень даже красивые ноги. Она лишь покосилась на необъятные черные трусы, они доходили ему до колен и, конечно, не могли не вызвать усмешки, но она и виду не подавала, что он смешон.

– Что – поплывем до буй? – задал он вопрос не более чем риторический.

– Мне? С вами?

– А что? Девушкам вредно быть долго на солнце.

– Разве?!

После стрижки ему попали за ворот мелкие зудящие волоски, они иглами впивались в шею. Он с наслаждением их смыл. Какое блаженство! Оказывается, и волосы на голове бывают лишним грузом... Краем глаза он видел: белая девица привязала к скамейке белой шелковой лентой белого пуделя и строго-настрого наказала ему сидеть на месте. Жакыпу вспомнился отец, он опоясывал сына веревкой и только после этого разрешал войти в воду. И пока пацан плескался в воде, отец будто гора возвышался на берегу, крепко удерживая веревку, чтоб водяной не утащил купальщика. Надо же, как он трясся надо мной!..

Чем дальше отплывал он от берега, тем холоднее становилась вода. Видать, он достиг основного течения Бухтармы.

На пирсе загнусавил мегафон:

– Гражданин в черных трусах! Немедленно плывите к берегу. Вы нарушаете...

Нет уж, позвольте мне нарушить, мысленно ответил он. И как ни в чем не бывало поплыл дальше. Что они ему сделают, эти блюстители-спасатели на водах? Самое большее, догонят на моторке, если она у них есть, и утащат на берег...

Буй остался позади. Жакып лег на спину, вытянулся. Какое блаженство!.. Посмотрел на часы. Восемь пятнадцать. Покрутил заводную пружину, перевел на пять минут назад. У часов была привычка – в сутки уходить на пять минут вперед. «За безупречную воинскую службу. Тихоокеанский флот»... Сколько уж лет он каждое утро сдвигает стрелку часов на пять минут назад! Сколько их уже накопилось за эти годы, таких вот избыточных пятиминуток?.. Недавняя рваная туча растворилась в желтом небе. А небо здесь всё то же самое, оно ничуть не изменилось за эти тридцать лет. Родное небо далекого детства. А он вчера не поверил деду Осипу, что дед помнит, каким было небо восемьдесят лет назад. Вот и не верь. Тогда что сам ты ищешь в этом небе? Оно всё то же – мое, родное. Чужой была в том небе лишь черная сажа из труб комбината – тяжелая, как ртуть на поверхности океана, что вопреки физическим законам не тонет в воде, а водой исторгается. Вроде мути, той грязной жижи, что с возрастом скапливается в душе человека и поднимается из глубины души, и проступает как проказа. В детстве небо было чистым. И душа в детстве чистой была. Где взять ту силу, что стерла бы эту слизь с повзрослевшей души и повзрослевшего неба?..

Мегафон опять загнусавил:

– Дама в белом купальнике! Немедля плывите назад. Вы нарушаете...

А интересный народ эти женщины. Обозлишь ее – врагом смертельным станет, избалуешь – на голову сядет. А если ею пренебречь, не обратить внимания,

она мокрой курицей становится, на нее жалко смотреть... Глянь-ка, эта белотелая барышня и не думает возвращаться. Плывет она сильно и быстро, и вот-вот догонит Жакыпа. Он нырнул в воду, скрылся с ее глаз. Под водой проследил, как она плывет. И в самом деле, тело у нее белое, как у сазана, длинное, будто веретено или подпорка у юрты. Он посмотрел на циферблат часов. Минута. Две, три... четыре. Осторожно подплыл к ней, погладил по талии. Она взбрыкнула под водой, как лошадка.

– Вы меня напугали...

– Простите. Шутка.

– Я не об этом. Я испугалась, что не доплыву одна до берега.

– Сюда же доплыли.

– На вас надеялась. У меня пунктик: одна ни за что не залезу в воду. Это с детства. Меня, чтоб плавать научить, подруги в омут бросили. С тех пор заскок – боюсь воды.

– Да вы отдышитесь...

– Попробую. Стоит мне запаниковать, ногу судорогой сводит.

– Э-э, зря я вас взбудоражил.

– Ну, хоть в этом признался.

– Тогда возвращаемся к бую. Там я помассирую вам ногу. Только чур не бояться.

У девушки был хороший размах. До буя доплыла вперед Жакыпа. Вода смыла штукатурку с ее лица, бровей, ресниц, и барышня помолодела. Прозрачные бусинки воды скатывались с ее белейших щек, улыбка была открытой, взгляд прямым, и никакого кокетства, напротив, лицо ее излучало застенчивую доверчивость. Разве что прямой остренький носик теперь выдавал ее возраст. Оба, обняв буй, отдышались. Жакып, как сдурел, стал смеяться. На нее тоже напал смех, и этот смех был от души, беззаботным.

– Я знала, что вас встречу.

– Именно меня?

– Ну, не конкретно вас, а нечто вроде.

– Как интересно! Тогда давайте ваши ноги, займемся делом.

У нее были крепкие полные икры ног, а кожа показалась грубоватой. Она охотно доверилась ему, и видно было, что массаж ей приятен.

– Занимаетесь спортом?

– Было дело. В техникуме. Первый разряд по прыжкам.

– А сейчас?

– Допрыгалась. Стою за прилавком, – и она вздохнула. – Продавщица я. Из Кереку приехала.

– Одна?

– А что? Пока – одна.

– Вы не так меня поняли. Я не собираюсь к вам приставать.

Она снова вздохнула:

– И до чего же все вы неизобретательны... Ну да ладно. Живу я на квартире у одной старушки. Это ее пудель. Она меня и на квартиру-то пустила, чтобы я утром и вечером собаку выводила гулять. Неделю я на работе, неделю – дома. Зовут меня Катей. Что еще? Ах, да! Мне двадцать пять лет. Еще есть вопросы?

– Обиделись?

– Да как сказать... Привыкла.

Массажируя, он, пожалуй, слишком пристально стал рассматривать ее ноги.

– Что – голенастая, да?

– А если я рассержусь? – пригрозил он ей.

Он с горечью думал о том, что кануло в прошлое время, когда, завидев красивую девушку, он заводился с полуоборота. Конечно, была б она юной, наивной, неопытной, он мог бы разыграть перед ней ловеласа, покорителя женских сердец. Но здесь он чувствовал холодок, усталый женский опыт, и от него, от Жакыпа, не скрывают ни этого холодка, ни опыта, что, как ни странно, его оскорбляло. Видать, она крепко уже обожглась и, словно бы заранее всё зная, с привычным любопытством смотрела на него. Хотя ведь – ни наглости, ни кокетства, но – спокойно, без трепета. Конечно, был он не чурбан, и само касание к женскому телу не могло оставить его равнодушным, и уж готов был вспыхнуть огонек желания в крови, но банальность ситуации его миг загасила. И все-таки промелькнувший как дальний отзвук легкомысленный порыв разбередил в нем память. Он вспомнил прохладные летние ночи, когда в полудреме согревал ледышки Лесиных ног, она сидела сзади, за его спиной на вороной кобыле, уткнувшись носиком ему в спину, и сам Аллах хранил их чистоту и целомудрие в те ночи... Но, кажется, у той девочки ножки были и нежнее, и меньше вот этих, что он сейчас держал в руках.

– А-у! Вы где? – окликнула она его.

Он вздрогнул, как спросонья, и вернулся из тех незамутненных дней к сегодняшней суровой прозе. Вся нелепость их сегодняшних отношений с Лесей во всей неприглядности встала перед ним, что оптимизма ему не добавило. Он подумал, что Леся тоже, наверное, ругает его почем зря, ей тоже до боли сиротливо в мире... Но белотелую барышню он не забыл, не обошел вниманием при этом:

– Знаете что? Давайте я поплыву рядом и подстрахую вас до берега.

– Плывите, – согласилась она почти что весело, хотя и без энтузиазма.

Она плыла рядом, почти касаясь его своим телом.

– А что: из нас получилась бы неплохая пара? – горько пошутила она. Он увидел ее тоскливые глаза. Ему стало жаль ее и захотелось хоть чем-то утешить.

Она повернулась на спину и замерла на воде, отдыхая. Тогда он подплыл к ней и, стараясь не потревожить ее отдыха, осторожно обнял ее, коснулся губами ее белой шеи и приник долгим, сильным, до крови поцелуем к ее тонким податливым губам.

– Спасибо!..

Мимо них промчалась моторная лодка.

– Нашел место! – проскрежетал охрипший голос. Будто в душу плюнул...

Белый пудель вконец запутал шелковую ленту в тугий узел.

– Опять распутывать узлы, – устало сказала белая барышня.

На берегу не было даже мало-мальского укрытия, где можно было бы отжать воду из трусов и купальника. Чтобы хоть как-то спрятаться от голодных глаз толстопузого мужика, что перед этим храпел на песке, а теперь так некстати проснулся, Жакып предложил ей свою рубашку.

– Под ней переоденешься.

– Не надо. А то привыкну к твоему запаху. Потом сил не хватит отвыкнуть.

Ну и шуточки у нее!..

– Я так дойду, не отжимая купальника. Дом близко.

Жакып, не придававший обычно значения таким вот мимолетным встречам, почувствовал что-то вроде сожаления, затоптался, замялся. А белотелая барышня надела белое кружевное платье, белую шляпу, белые босоножки, взяла за поводок белого пуделя и превратилась в холодную белую даму.

Но в душе Жакыпа уже проклюнулась зеленая веточка теплого чувства:

– Я, может быть, и не достоин вашего внимания, но... вы не обидитесь, если я приглашу вас на чашку чая?

– Не обременяйте себя новыми хлопотами, – она посмотрела на него с сочувствием. – Спасибо, что проводили до берега.

Берег реки – не берег жизни. Но коли уж от самого речного берега дорога пошла вкривь и вкось, едва ли выровнять ее удастся. Ему было жаль отпускать ее просто так, и ему было приятно, что их ничто не связывает. Было такое ощущение, что он поднялся невзначай на вершину высокой горы и его там овеяло воздухом горных высот. Хотелось догнать ее и сказать ей спасибо. Она уходила, и он понял, что она в своей жизни также незащищена и несчастна, как и его Леся. И теплое, светлое чувство, которое вспыхнуло в нем к незнакомке в ту благодатную минуту, осталось в нем надолго, облегчив и укоротив ему нелегкую дорогу, которую ему предстояло пройти, чтобы вернуться к Лесе и вернуть Лесю к себе.

11

Ну вот, час от часу не легче! Именно в доме Кара Дию, причем именно сегодня, решила разместиться бригада СМУ. Чуть в сторонке, ближе к порогу, жалась Леся с двумя чемоданами, а посреди комнаты во всей своей бойцовской красоте стояла племянница и грызлась-гавкалась с прорабом. Прораб был пьющим человеком – видать, должность такая. Во всяком случае, у него был нос типичного алкоголика: картошкой, пористый и синий. Но дело не в этом, а в том, что на него приступом шла озверевшая бабенка, она орала так пронзительно и громко, что бедного Кара Дию могла бы воплями своими достать на том свете.

– Убью! – орала она. – Буркалы выколю! – и с какой-то ржавой железной штуковиной перла на прораба, целясь в его красную харю.

Впрочем, переть-то она перла, но он временами рывкал в ответ, и от этого рывканья она чуток сдавала назад. Осипа, который сдуру бросился их разнимать, она так двинула, что он свалился с ног. Она уже набила с верхом прицеп трухлявыми досками и прочим барахлом, которое в избытке там, где сносят дома и расчищают место для стройплощадки, и сейчас мертвой хваткой вцепилась в гнилое бревно, с которым отчего-то не хотел расставаться прораб-алкоголик.

Леся, съезжившись, сидела на чемоданах и, завидев Жакыпа, взмолилась чуть не плача:

– Уйми хоть ты эту заразу!..

Дед Осип, вдоволь накупавшись в пыли и отряхиваясь, тоже с надеждой смотрел на Жакыпа.

Жакып рванул из рук ее ржавую железяку:

– Исчезни, а? Ты уж весь хлам перетаскала отсюда...

– Что он мелет, а? Что он мелет? – выпучила та свои зенки. – Дом родной отдал на растерзание! Да твой отец тебя проклял за это!..

Это ж надо, так раззуделась навозная муха, что даже отца покойного приплела к трухлявым доскам! Жакыпу стало не по себе. Терпение прораба тоже кончилось.

– Всё, – рявкнул он. – Вызываю милицию. Тебя как хулиганку загребут.

– Вот-вот! Посади меня, посади в тюрьму, – опять набросилась племянница на Жакыпа. – За то, что наше добро защищаю. А ты... ты как был голодранцем, так им и остался. Жenu и ту укараулить не сумел!..

О Аллах! Неужто мы с этой мымрой родня, и наше родство освящено памятью покойного Тулеша? Родня, готовая устроить потасовку на куче мусора из-за трухлявой деревяшки... Обескураженный Жакып сел рядом с Лесей, не зная, как ее утешить, и сам не меньше, чем она, нуждаясь в утешении. Хромая и опираясь на палку, к ним подошел дед Осип. А племянница кинулась за трактором, заголосив с таким невыразимым горем, будто прицеп вез не гнилые доски, а покойника. И сразу наступила тишина. Гул экскаватора, рычание бетономешалки, прожевывающей цемент, – всё было ничто по сравнению с криками одной сумасшедшей бабы.

– У них тут все чокнутые, – ворчал красномордый прораб с сизым носом. – Вон еще одну принесло, тоже что-то ищет.

Старуха Бибисара и вправду ходила краем котлована, поглаживая стволы трех высохших, ободренных березок. Она вырядилась во всё лучшее, будто в канун Наурыза, будто собралась побродить-походить по гостям.

– Ты, мил-человек, ее не обижай, – пожалел старуху дед Осип. – Березы эти посадили ее сыновья. И, видишь, не вернулись с фронта. Сыновей давно нет, и березы засохли. Ты позови ее сюда, – сказал он Жакыпу. – Как-никак твоя крестная мать.

А у Жакыпа в груди вместо сердца ком боли. Его окрылила встреча с барышней в белом, он было глянул на мир молодыми глазами, но племянница криком своим вмиг его отрезвила. Дух обреченности и запустения в родном доме был нестерпим. Но еще нестерпимей были отчуждение и вражда между людьми, казалось бы, самыми близкими. Раньше в родне искали опоры, теперь, напротив, готовы обобрать того, кто роднее и ближе. И что меня тянет сюда, к этим людям и стенам, где кроме развалин и кучи мусора ничего не осталось? Бекет тоже хорош – запер его до самого обеда в этом душном, вонючем городе.

– Акаш! Макаш!.. Токаш!.. Тьфу ты, Господи, совсем отшибло память... Жакаш! Принеси водички, в горле пересохло!..

– С похмелья, что ли?

– О-о, да никак это Осип? Жена в добром здравии? Скотина цела-невредима?

– Скотина? Да у меня кроме моей жуткой старухи отродясь никакой скотины не было.

– Типун тебе на язык! – Бибисара, заметая своим подолом всю глину стройплощадки, подошла к ним, плюхнулась на ступеньки, подняв пыль столбом.

– Акаш! Макаш!..

– Да перестань ты! Что – не знаешь, где у них прописка вечная?..

– Воды стало жалко, да? – поняла его по-своему старуха. По тому, как она щурилась, близоруко озираясь вокруг, Жакып понял: старуха стала слепнуть. Да и голос ее потускнел, ослабел, обесцветился. Бывало, начнет она звать сыновей своих покойничков: «Акаш! Макаш!.. Токаш!» – всю округу на ноги поднимет. Видать, за тридцать лет и самая горластая глотка силенку утрачивает.

А ведь оно было как? Здесь, в этом доме, три раза на день собирались жатаки за трапезой. И три раза она одна-одинешенька накрывала дастархан, самовар кипятила, в три пиалушки разливала чай, выходила во двор и кричала хозяйке Кара Дию:

– Эй, слышь! Ты мне с Акашем... нет, с Макашем... то есть с Токашем. Фу-ты, ну-ты, совсем памяти нет – с Жакыпом передай три кусочка сахара.

И это повторялось каждый день. Кара Дию, садясь за дастархан, нередко упреждал сына:

– Сейчас твоя крестная звать тебя будет.

И даже когда пили пустой кипяток без сахара, три махоньких кусочка рафинада передавал через Карашелека старухе, исправно готовившей чай сыновьям, не вернувшимся с фронта. Конечно, все три кусочка съедал опять же он, Карашелек, иначе б старуха его не отпускала. Он только обижался всегда, что путают его с Акашем, Макашем, Токашем. Это уж после он понял, старуха нарочно окликала всех трех своих сыновей, чтоб имена их не стерлись из памяти всех, кто ее слышит.

Она и сегодня, видать, ждет, что ей в этом доме вручат те неизменных три кусочка сахара, долю трех ее сыновей. Старик возмутился даже – правда, молча: и надо ж быть такой упрямой. А Леся, недопоняв ритуала, принесла старухе полный ковшик воды и удивилась, что Бибисара, помиравшая от жажды, лишь пригубила воду, а остальное, благословия, вылила на землю. Если уж Карашелек не смог заполнить пустующее место трех сыновей старухи, Жакып тем более не сможет восполнить пробела...

Полуденная жара придушила все звуки, оставив лишь пронзительный стрекот кузнечиков в зарослях конопли и полыни. Подъемные краны, похожие на стаю коршунов, клевавших корм, тоже замерли. И ненасытная бетономешалка перестала рычать. Рядом с ней примостились женщины в грязных комбинезонах, они ели хлеб, запивая его простоквашей. Женщины были грязные от непосильной работы, их жующие щеки напоминали чугунные бока бетономешалок. А мужики со стройплощадки оккупировали дом, и дом гудел, будто улей. Вышел прораб с сизым носом, держа в руках здоровенный огурец. Видать, успел уже пропустить. Он, почесывая голое пузо, равнодушно смотрел на бывших жильцов этого дома, что обреченно сидели на пороге, томясь ожиданием.

Утюжа брюхом жирную пыль раздолбанной улицы, подъехал круглый «Уазик». Словно уверенный в том, что не будет пути, если не окажется рядом дорожного ангела-хранителя в лице какой-нибудь смазливой бабенки, из «Уазика» вылез Бекет, помогая выйти следом длинноногой щеголеватой девице в джинсах. Она, видать, и рубашку и джинсы надевала с мылом, они обтянули ее так, будто она родилась прямо в них. «Где он только находит таких?» – не без ревности, но и не без удовольствия подумал Жакып.

– Лаборантка, – представил ее Бекет. – Едет к нам в лесхоз работать.

– Ну-ну! – оставив более близкое знакомство на потом, Жакып сунул чемоданы в «Уазик», наткнулся взглядом на шевелящийся мешок. – А это что?

– Щенята.

– Зачем?

– Как это – зачем? Щенки сибирской лайки.

– А-а, дворняжек здесь бросаешь, а породистых берешь с собой?

– А что? Разве помешают? Я каждому из вас – Мишелю, тебе, Бескемпиру – дарю по собаке. Если и полаются, то и помирятся – как-никак из одного выводка.

Старуха Бибисара да дед Осип – вот и вся родня, что вышла проводить Жакыпа. Леся, если б он ее сам не взял за руку и не посадил в машину, тоже, пожалуй, осталась бы. Она была на распутье, хотя... и Жакыпа жалко, и оставаться незачем.

Дед Осип взял у прораба напрокат граненые стаканы, разлил на пятерых бутылку «Экстры», что припрятал за пазухой, не забыв и прораба при этом – его долю он оставил на дне бутылки.

– Ну что, Бибисара: говоришь, в горле у тебя пересохло? Иди, утоли свою жажду.

Бибисара не обиделась на Осипа. Да и какой смысл обижаться, если теперь, кроме него, во всей округе рядом никого из тех, кого знала она, не осталось.

Из отчего дома, вскормившего молоком, Жакып уезжал, выпив молочка от бешеной коровки.

– Если старуха отпустит, я вас догоню, – зачем-то сказал им дед Осип. Видать, не хотел разлучаться.

Жакып встал посреди двора, пронзительно свистнул. Ударив крыльями, с чердака сорвались голуби. Облетев и густой лес подъемных кранов, и все селение жатаков, все эти ветхие развалины, голуби стали набирать высоту, теряясь из глаз, тая в синеве знойного летнего неба. Зная, что больше сюда не вернется, он шугнул даже птиц, последних жильцов отчего дома. Они долго мельтешили в небе, пока не исчезли из виду, и у него было такое чувство, будто он прощается с собственной крылатой душой, что навсегда от него улетает.

Глава третья

1

Сигат подумывал, что надо бы, не поднимая шума, ввести Менсулу с ребенком в свой дом. И дело не только в том, что надоели сплетни или он горел желанием жениться на старости лет. О себе он не думал, но ему не хотелось обрекать на одиночество молодую женщину, да и ребенок при живом отце не должен быть сиротой.

Видно было, что Менсулу измучило двойственное положение, ей было стыдно глаз людских. Она старалась незаметно, тенью проскользнуть на работу, а потом чуть ли не крадучись уйти домой. И хоть она за эти годы прикипела к нему душой и телом, но открыто, при людях, подойти к серэ никогда не посмела бы. Конечно, как всякая женщина она мечтала о замужестве, о семье, но ей в голову не приходило обсудить эту проблему с Сигатом.

Что ж, видать, пришла пора Сигату залатать дыру в душе, заполнить место, пустовавшее у очага, освободиться от замашек старого холостяка. Хотя последнее не обязательно: он за эти годы так вышколил ее, так приучил к себе, что она принимала его таким, каков он есть, будто прожила с ним всю свою жизнь. Нет, что ни говори, а надо затеплить огонек в остывшем очаге, дать волю простым человеческим чувствам, чтобы голос малыша отогревал твое озябшее от одиночества сердце и чтоб в душе твоей было место домашним заботам, а не только директорским делам. Конечно, есть тут деликатная проблема. Испокон веку невестка страшится свекрови да взрослой золовки. Но первой в доме нет, а что касается второго пунктика, то Менсулу и Меруерт нашли давно общий язык. Как-никак ровесницы, да и роды у Менсулу принимала опять же Меруерт и смекнула, наверное, что Медет не чужой, а родная кровиночка, что малыш отцу в радость, что отец устал от одиночества, и хоть с запозданием, но надо бы помочь ему исправить ошибку и выправить жизнь.

И вот в выходной день Меруерт, как бы между прочим, пригласила Менсулу на чай, а заодно и пообедать вместе. Та до полусмерти перепугалась, но Меруерт, вопреки всем протестам, унесла к себе домой Медета. Понравится это отцу или нет, ее заботило мало. Ну не прогонит же он ее с маленьким гостем и с его оробевшей мамой!..

Когда Сигат с Бекетом вошли в дом, женщины обе нянчились с пацаном у манежа. Менсулу дернулась с места, зарделась, а Меруерт, как опытная байбише, лениво потянулась, расправив плечи, и холодно кивнула пришедшим: мол, надеюсь, мы вам не мешаем? Бекет, бывало, запросто шутивший с Менсулу, почувствовал неловкость, перешел с ней на «вы». Она и вовсе ступсевалась.

– Чего это вы, как два торговца-соперника, один из Ирбита, другой из Ташкента? Вам-то делить, поди, нечего? – изволил пошутить Сигат. – Я лично человек простой, без всяких церемоний. Весь на виду, – и он вздохнул, как бы оправдываясь. – Устал от должности, устал руководить людьми. Хочу нормальной человеческой жизни. Чтобы семья, жена, ну и так далее, – и поддел Бекета. – Поторопись с женитьбой, а то девушек в округе не останется. Мы, старики, парни хваткие, невесту из-под носа уведем.

И подытожил не без ехидства:

– Старый конь борозды не портит.

Издевается или просто шутит? Его так вот сразу и не поймешь. А подмывало Бекета одернуть серэ, поставить на место: «Ну да, не портит. Старый конь сойдет с борозды и спит». Но на всякий случай прикусил язык, чтоб не нарваться на ответный выпад.

Пока Сигат переодевался, Менсулу и Медет исчезли. Сигат выжидательно посмотрел на дочь, хлопотавшую в летней кухне, чтобы накрыть дастархан, и даже не глянув на чай, налитый лично ему, вышел на улицу. Бекет подался за начальством следом.

Шофер, тот самый, с плоской макушкой, волосы ежиком, жена величала его «Наш Котыин», – спал в обнимку с баранкой. Глядя на него, Сигат еще раз подивился человеческой природе: дома он лодырь лодырем, хворостину в печь не подбросит, но зато на работе готов пахать как вол, не щадя живота своего. А кончилась работа, он тут же, как сурок, впадает в спячку. И вечно он в тягость кому-то, и вечно кто-то должен принимать участие в его судьбе. Ведь вот Бекета никто не просил, пожалуй что, возиться с этим чурбачком, а он перетащил его в лесхоз, причем не одного – с семьей, с детьми мал мала меньше, и с женушкой, огромной, как стельная корова, и всегда немного беременной. Талантами этот рохля не блещет, но безотказен в работе и неприхотлив: хоть на трактор его посади, хоть на клячу – пахать будет до седьмого пота, и коли ты ему поручил работу, не оставит ее ни за что.

– Так-так. Это, значит, и есть тот самый силач, что пугает медведей.

Сигат сказал негромко, но Котыин проснулся, сходу нажал на стартер и, наконец, впервые подал голос:

– А мне с медведем легче справиться, чем с собственной бабой. Она дерется почище медведя.

– Уж не побила ли она тебя сегодня?

– Сегодня? Нет. Я в прошлом году получил все авансом, – и он хохотнул невыспавшимся голосом. – Все ничего, да родила она сегодня ночью. Вот я и не выпался.

– Ну-у, тогда приятных сновидений. И кто же на свет появился?

– А-а, слава Богу, один, – нехотя буркнул счастливый отец.

– Я не спрашиваю, сколько их родилось. Если двое, поздравляю вдвойне. Я спрашиваю: дочь или сын?

– Да опять тот самый, – красноречием шофер не отличался. – А нам нужна была та самая...

Выходит, недоволен он тем, что к шести сыновьям добавился седьмой.

– Тогда давай так: ты поезжай домой, – распорядился Сигат. – Подбрось меня в гараж, я возьму другую машину. А не будет машины, поеду верхом.

– Да что вы! Нам родить нет проблем. Она с утра уже корову доила, – и плоскоголовый тронул с места, набирая скорость.

А и вправду – странный человек, подумалось Бекету. Со многими людьми ему приходилось общаться, но такой редчайший экземпляр, как Котыин, встретился Бекету впервые. Терпеливый и безотказный, похожий на неандертальца, он нес в себе покой и теплоту. Непритязательный во всем, одетый как попало, страшно-ватый на вид, он был любим, казалось, всеми. Богатства у него не было отродясь, а если и было бы, он ему, как и детям своим, едва ли вел бы строгий учет. Но при этом, где бы он ни был, с пустыми руками не вернется. Однако везет добычу не домой, а тем, кто нуждается, по его разумению, больше, чем он. Как будто он обязан обеспечивать всех подряд сеном, дровами, водой. Причем за здорово живешь. Его отзывчивость и щедрость могли обескуражить.

Говорят, когда он однажды наступил на морду спящего медведя, тот вместо того, чтобы задать трепку Котыину, просто обиделся и разобиженный ушел. Было, не было, но говорят, однажды жена послала его на речку белье полоскать. А Котыин растяпа, ворон вечно ловит, под ноги смотреть у него нет привычки. Зазевался он, задумался и наступил на медведя, тот храпака задавал под кустиком черной смородины. Медведь с перепугу как рявкнет – и дёрю! А стельной жене Котыина только того и надо: «От него даже медведи бегут. Да мне должны дать орден за то, что с ним живу!» Сам Котыин плечами пожимает: «Медведь? Да это тещина корова угодила мне под ноги... Зря жена меня расхвалила».

А жара стоит несусветная. Даже Бухтарма вышла из берегов среди лета. На вершинах Алтая снега не осталось. Хребты, казалось бы, вечно белые, оголились, лишь кое-где в заоблачных высях лежал синий лед. Над тайгой давно уже не было туч, тайга изнывала от жажды, из густых таежных зарослей в лицо ударяло горячим воздухом, он нес удушливые запахи смолы и горелого торфа. Не дай Бог бросить спичку в эту горючую смесь, всё выгорит дотла. От безводья и великой суши тополя и березы покрылись полчищами гусениц. Неделию назад самолет распылил над тайгой химикалии, массивы леса были в желтых пятнах, как стиранные нерадивой женщиной пеленки. Всё зверье удалилось в альпийские выси, а в поймах рек тучами роились черные мухи, каких раньше никто здесь не видел. В лесхозе все неотложные дела были забыты ради одной неизбывной заботы – не допустить пожара. Укреплены пожарные посты, все, кто мог, сели на коней. Покоя не было от проныр, что налетали, как шакалы, в ягодную пору. Да еще какой-то умник придумал «конный туризм», и расползлись эти туристы по всей тайге как вши по шубе. Ну и кто-то из них избил Мишеля до полусмерти – тот очень рьяно относился к службе. Едва это известие достигло конторы лесхоза, Сигат с Бекетом тотчас выехали к месту происшествия.

В кабине жар стоял как в раскаленной духовке. Котыин и Бекет истаивали потом, Сигат между тем, одетый куда как тепло, лишь посмеивался над ними – его и жара не брала. Закрыв ветровое стекло, он спросил:

– Зовут тебя как?

– Отец назвал меня Кенесханом, – плоскоголовый сдоил ладонью пот, капавший с подбородка. – Жена, как в настроении, зовет меня Котыин, а если рассердится, то одарит полным именем. А мне без разницы, мне оба имени подходят. Как вам удобней, так и называйте, – и он уставился на директора, зачем, мол, форточку закрыл. Пот его вконец одолел.

– Ты можешь что-нибудь руками делать?

– Кроме воровства всё, что угодно.

– Как выпадает свободная минута, зайди на склад, я кошму тебе отпущу. А то голый брезент зимой морозит, летом жарит да еще резиной пахнет. Ты кошму оберни бумазеей и утепли машину. Зимой будет тепло, летом – прохладно. Вообще от жары знаешь что спасет? Плотная и теплая одежда, удерживающая пот.

Рубашку Бекета хоть выжимай. Ему вначале казалось, что Сигат оделся неряшливо, будто вышел к соседям выпить айран. Безрукавка из гладкой шкуры козленка, фетровая шляпа, льняные брюки, хромовые сапоги с коротким голенищем – всё годилось для верховой езды. А Бекета угораздило в такую жару надеть нейлоновую рубашку и лавсановые брюки. Душегубка, в которой заработаешь чесотку.

Перед шлагбаумом полно народу. Здесь как бы выход из тесной горловины: с одной стороны дорога зажата Бухгармой, с другой – отвесная скала уходит в поднебесье. Узкое место забито машинами: жалкие «Москвичи» с легкими прицепами, к которым приторочены палатки, и солидные «Волги», владельцы которых смахивают на толстых злых тарантулов – всё это жарится на солнцепеке. Здесь же, между будкой объездчика и шлагбаумом, мечется Мишель с полосатой палкой в руках. Он в одном лице – и инспектор, и прокурор, и судья дорожного пикета. Одна щека вспухла, под глазом синяк. Он всё такой же махонький, но как веретено подвижный, и круглого живота как не бывало, фуражка надвинута на глаза, туго стянутая форма лесника стоит торчком, на ней проступили серые разводы соли, она шуршит, как высохшая сыромятина.

– Нет, я кого-нибудь прибью! Добром это не кончится... – крикнул он вместо приветствия. – Это не люди, это черт знает что! Они проглотят живьем и не подавятся.

Никто не спросил, что случилось. Да и что спрашивать. Фонарь под глазом сам за себя говорил.

Перед шлагбаумом лежал – вот именно: лежал! – «Москвич» синего цвета, и лопнувшие камеры вокруг него походили на кишки, вывалившиеся из нутра машины. Рядышком, разложив на мешке винты – гайки – шайбы – ключи, сидел владелец машины, как барахольщик на жалком базаре. Был он с волосатыми козлиными ногами, да еще косоглаз и брехлив. Он тут же наскочил на Сигата, качая права:

– Это произвол! Куда смотрит советская власть?!

– А ты куда смотришь? – попер на нахала Мишель. – У тебя глаза есть? Так разуй их и прочитай, если грамотный!

Он ткнул пальцем в жестянку дорожного знака, которая в просторечье зовется «кирпич» и запрещает проезд. А чтобы не было сомнений, тут же висит лако-

ничная надпись: «Въезд категорически запрещен!» Чуть ниже кто-то нацарапал от руки: «Умри, но дальше – не пройдешь!» По лихим размашистым буквицам Бекет узнал почерк Асеке. Причем весь этот люд на машинах и без воспринял комментарии лесничего буквально: можно было подумать, что проезд для них – вопрос жизни или смерти. Вид у них был устрашающий: полуголые, озверевшие от жары и неудачи, все эти растрепанные бабы, пузатые, задастые, грудастые машины проседают под ними, скрежещут рессорами, и неудивительно, что у синего «Москвича» полопались камеры. Причем туристы что-то жуют непрерывно, словно боятся от волнения похудеть.

Жена косоглазого, проглотив целиком помидорину величиной с кулак, отодвинула в сторону мужа с волосатыми ногами и поперла на Бекета необъятным своим животом:

- Я этого дела так не оставлю! Вы заплатите мне за все четыре баллона.
- А еще вам за что заплатить? – возмутился Бекет.
- За всё!

Она вошла в раж, но ее козлоногий муж некстати повторил свой риторический вопрос:

- Здесь есть советская власть или нет?

И тут же был посрамлен, потому что, перекрывая всеобщий шум и гам, раздался невозмутимый голос:

- Я представитель власти. У вас ко мне вопросы?

Все вмиг умолкли, повернувшись на голос. Дымя кривым носом и нянчая неизменную «Шипку» в губах, к ним подъезжал верхом Асеке. Сидел он небрежно, приосанившись в седле, держа в руке широченную шляпу из плетеной соломки, и той шляпой он словно хотел смахнуть всю эту неразумную толпу. Бекету сразу стало ясно, что кривоносый приготовил свой очередной концерт.

– Дорожный пикет – это вам не пляж! – прошипел он с возмущением. – Сперва оденьтесь приличнее да подтяните подпруги, а потом уж... Подходите по одному.

И, разогнав своего вспотевшего жеребчика с придурью, он перелетел через шлагбаум.

Машиной сегодня человека не потеснишь, потому как у распоследней шавки есть хотя бы «Запорожец». А вот таинственная сила и грозный вид жеребца заставили всех оробеть и притихнуть.

- Может, и галстуки надеть? – попробовал кто-то огрызнуться.

– А хоть портянки повяжите вместо галстуков! Но власть законную будьте добры уважать.

Асеке уже спешился и, окинув взглядом толпу, увидел Мишеля, а главное – шишку у него на лбу и синяк под глазом.

- О-о, да тут, я вижу, был настоящий бой!

Как всегда в таких случаях, он перешел на киргизский:

– Кобланды-батыр! Никак вас брали приступом, будто крепость Казань? Ну и как, крепость пала?

- Черта с два! – разозлился Мишель. Ему было, в общем-то, не до шуток.

– Но жертвы налицо, – он смотрел уже не на шишку и не на фингал под глазом, а на вспухшую щеку, причем опухоль явно перекинулась и на нос Мишеля, почти поглотив одну ноздрю и перекосив физиономию защитника шлагбаума весьма и весьма. – Что скажет Жамиля? – и Асеке, будто хвастаясь своим пока что уце-

левшим носом, пустил на него дым и повернулся к Сигату. – Саке, в наших рядах уже есть инвалиды. Неужто вы допустите, чтобы здесь повредили еще хотя бы один нос? Неужто вы на произвол судьбы отдадите...

– Отдам! – оборвал его на полуслове Сигат. – Я всю полноту власти тебе отдам.

– О-о, большая честь – сумею ли снести, – и он в самом деле взял власть в свои руки. – Мишель! То есть, простите, Кобланды-батыр! Думаю, на двоих нам хватит одного неразбитого носа? Тогда вытаскивай стол, ставь рядом со шлагбаумом. А дальше... дальше мы кое у кого проверим документики, – и он зорко посмотрел на толпу туристов, будто у него не глаза, а рентгеновский аппарат.

С тех пор как удалось избавиться от Тынымкула, соседом Асеке стал Мишель, который наконец-то подрастряс мощну, обзавелся лошадьми, держал двух коров и десяток овец. Конечно, всё это не шло ни в какое сравнение с подпольной фермой Тынымкула, но достаток в доме Жамили и Мишеля был, так что было чем и приветить гостей, и самим не чувствовать себя нахлебниками лесхоза. Сказать по правде, Асеке давно осточертели все эти «завтраки чабана» и «ужины туриста», и хоть раз в день его поила теперь Жамиля чаем со сливками...

Собственно, началом всех нынешних бед стал именно утренний чай Жамили. Асеке, едва переступив порог соседа, так и замер, будто громом пораженный, глядя на Мишеля, как тот отпаривал лицо, чтобы выбрить пять своих волосинок на подбородке:

– Кобеке, что с тобой? На тебе лица нет. По-моему, ты похудел. Уж не захворал ли ты, бедняга?

Красномордый Мишель, никогда и ничем не болевший, откормленный как на убой, задубевший от солнца и свежего воздуха, потому как день-деньской приходилось дежурить у пропускного пункта, испуганно глянул на свое отражение в зеркале, и к нему впервые закралось сомнение: может, и в самом деле он не совсем здоров?

– Тут захвораешь, – подпела Жамиля. – Всё лето не знает покоя, с утра до ночи на ногах.

Ну, если егерь ткнул в человека своим острым, как шило, глазом, то, будьте спокойны, он своего добьется. Короче, допив пиалу чая, он внушил Мишелю, что тот тяжело болен.

– Мишель... то есть, прошу прощения, Кобеке, ты не жалеешь себя. Горожане – те следят за своим здоровьем, стараются побольше быть на воздухе, а ты... Ты посмотри на себя. Лицо осунулось, давление скачет. А ну как ты протянешь ноги? А жена у тебя в положении, и у нее ни сестры, ни золовки. На кого ты ее оставишь?

– Что же мне делать, Асеке?

– Как это что? Следить за собой! Во-первых, диета. Во-вторых, режим питания. Всё только свежее, только домашнего приготовления...

– И я ему то же твержу! – прослезилась Жамиля.

Прослезился и Мишель: впервые в применении к нему говорили всерьез о диете и режиме питания, а главное, он отродясь не слышал, чтобы кто-то проявил к нему участие или просто пожалел бы.

– Сегодня же поеду к Бекету.

– Зачем?

– Просить помощника. Или я должен сдохнуть на этой работе?

– Ой, не люблю я с начальством вошкаться, – поморщился Асеке. – Да и кого он тебе даст? У них людей не хватает. Лучше ты сделай вот что... Возьми тесовый брус, вбей в него толстые гвозди – да побольше вбей! И закопай перед шлагбаумом. Знак есть, что въезд запрещен? Есть. Вот и лежи себе, полеживай.

– Как это – полеживай?

– Обыкновенно. А все машины, что сунутся без разрешения туда или обратно, у шлагбаума и приземлятся на все четыре лапы. Как миленькие будут ждать тебя, пока ты их седоков не оштрафуешь.

– Ну ты даешь, а! – Мишель, потрясенный, уставился на дно своей пиалушки.

Совет тот доконал Мишеля. Он сделал всё, как говорил Асеке, и отправился домой, чтоб отдохнуть от проделанной работы и выпить вполне заслуженную пиалушку чая из рук Жамили. А дома его подждал тесть. Он давненько что-то не был в гостях, и сейчас, сидя в переднем углу и накачиваясь чаем, гнусавил какую-то просьбу. Что, дескать, умерла бабуся, свояченица мужа сестры его старухи – в общем, шибко близкая родня. Так вот на похороны нужен барашек. И деньги, конечно, нужны.

– Дай всё, что он просит, – сказал Мишель Жамиле.

Та готова ночнушку снять последнюю для первого встречного, но тут заартачилась, не могла забыть обиды на родителей, что оболгали Мишеля и засадили в тюрьму.

– Ни копейки не дам! – с тем отца и отправил.

Но старик, видать, и не рассчитывал на прибыль. Ему была важна разведка боем. А главное, он накачался чаем до икоты. И как не лопнул старый скряга?..

Когда Мишель вернулся к будке со шлагбаумом, его уже подждал какой-то «Москвич», как и предрекал Асеке. А рядом с «Москвичом» вился злой как шершень, волосатый и косоглазый хозяин машины. Он тут же ринулся на Мишеля, и тут не хватит слов и красок, чтобы описать сражение. Мишель все напасти недоброго дня свалил на зловредного тестя, недаром говорят, что следом за пакостным человеком всегда идет беда. У него и в мыслях не было винить Асеке, советам которого он следовал. А то, что он послал нарочного в контору и вызвал сразу всё начальство, так это не без задней мысли. Хотел он воспользоваться заварухой и всё же выспросить себе помощника. О том, что Асеке прийти может на помощь, он как-то и не подумал.

– Документ! – потребовал кривоносый, повелительно протягивая ладонь.

– А зачем? – заюлил косоглазый.

– Такой порядок, – и начал разъяснять косоглазому всю процедуру, сочиняя ее по ходу дела. – Мы дадим вам талон, по которому вы в лесхозовской бухгалтерии купите разовый пропуск. Сколько стоит? В бухгалтерии скажут. Пропуск надо сохранять вплоть до выезда. Я говорю понятно?

Косоглазый из подхвостника своих куцых шорт извлек паспорт. Асеке, пуская из кривого носа дым, переписал из паспорта всё, что можно было переписать оттуда. Потом с важным видом нацарапал что-то на клочке бумаги, а что нацарапал, сам черт не разберет. Клочок вручил владельцу, а паспорт сунул в свою сумку бед.

– Документ! – сказал он следующему.

– А паспорт? – косоглазый терся у столика, не уходил.

– А паспорт будет у меня. До вашего возвращения из тайги. И если в тайге случится пожар, мы взыщем с вас штраф. Какой? Пустяки. Пятьсот рублей.

– Пятьсот? За что? – К столу приникла животом не иначе жена косоглазого. – За ведро говенной смородины да за рублевые грибы?

– А вы как думали? Тайга горит час, а восстанавливать ее надо лет сто, не меньше. Вот вы где работаете?

– Мы из шахтерской семьи!

– В шахте я вас не видел. А на базаре в Коктасе встречал. Не вы ли там продавали грибы? Неужто по рублю за килограмм?

– Отдай паспорт! – вдруг взвизгнула баба.

Поднялся шум, все кинулись к машинам, напоминавшим раскаленные сковороды, стали разворачиваться и уезжать восвояси. Косоглазый, чуть не рыдая, бился у стола, пытаясь вырвать свой паспорт. А кривоносый на полном серьезе читал ему акт: «Во время исполнения служебных обязанностей объездчик четвертого лесничества Аксуского лесхоза Мишель Айдаханов был избит до потери сознания неким гражданином Берденниковым без определенных занятий, проживающим в городе Коктас по улице Антонова дом номер тринадцать. Соответствующая медсправка и объяснительная записка потерпевшего прилагаются. Свидетели...»

– Хватит с него, – сказал Сигат. – Он больше не будет. Отпусти...

– Отпустить? А шишка на лбу Мишеля? А фингал под глазом? И, наконец, кривой нос!.. Неужто вам мало кривоносых?

– По-моему, ты переборщил. Хотя насчет штрафа неплохо придумано.

– А как с ними иначе? Они вроде коровы – она зайдет в кукурузу, и пока гектар другой не погравит, не выйдет оттуда. Ведь эта толстозадая бабенка из-за ведра смородины и рублевых грибов штраф в пятьсот рублей платить не захочет. Корову палкой выгонишь с поля, а этих – штрафом из тайги. Но если уж мы их погнали, надо так гнать, чтобы пятки сверкали. Этых погнали – другим неповадно будет.

Косоглазый, весь день промучившийся с починкой камер, когда ему отдали паспорт, обрадовался, будто получил подарок от самого Ходжи, и, погрузив в «Москвич» свою толстомясую кралю, в мгновение ока исчез.

– Скажите мне: кто я? – вдруг выступил вперед Мишель.

– Кто ты? Хороший парень, – ответил Бекет. – Дом у тебя есть, в доме – хозяйка. Даст Бог, скоро будешь отцом.

– Нет, вы скажите: кто я? – настаивал Мишель.

– Ты – объездчик. Ты второе лицо в тайге после медведя.

– Вам всё шуточки, а я не пойму: почему люди не верят мне, а я не верю людям?

Все приумолкли, не в силах так вот сразу ответить на заковыристый вопрос смиренного толстяка, да и никак не ожидая подобного вопроса от него.

– Нет, ну все мне угрожают! Участковый грозит, что выгонит из пограничной полосы, Жамиля грозит, что разродится со дня на день. А тут еще каждая псина норовит дать мне в морду. Может, все они правы? Может, так мне и надо? Нет, ну кто я такой?

И он начал развязывать небольшой плоский сверток, в котором лежал заматанный в носовой платок новенький паспорт, обложка которого была девственно чиста. Впрочем, не только обложка: ни прописки, ни записи о регистрации брака. Стоял, правда, лесхозовский штамп. Бекет молча подал паспорт директору. Тот так же молча положил его в нагрудный карман, как бы беря на себя все заботы о том, чтобы Мишелю было легче отвечать на вопрос, кто он такой.

Асеке невольно восхитился демаршем коллеги:

– Ну, Кобеке, ты просто гений! Говорят, женщины, у которых одинаковый срок беременности, без слов понимают друг друга. Ты в точку попал. У меня там же чешется, – и пустил колечко дыма. – Если у меня спросят о прописке, мне кроме кривого носа показать нечего.

Только что здесь было столпотворение, а глядь – их осталось лишь четверо. Пятый, правда, был Котыин, но он не в счет, потому что снова заснул как убитый, прикорнув у руля. Длинная вереница машин исчезла из виду, только пыль иставивала над дорогой. Стрекот стрекоз и кузнечиков перекрывал шум Бухтармы, и, казалось, что стрекот несет с собой зной. Скандал оставил синяки лишь на лице Мишеля, но от едкого привкуса перепалки у каждого саднило в горле, и долго еще в воздухе стояла невидимая глазу, но почти физически ощутимая радиация тревоги и вражды, она как запах пыли и зноя мешала дышать.

– Пропал! – сказал Мишель.

По дороге с бидоном и сумкой шла Жамиля.

– Дела табак, джигиты, – отвернул кривой нос в сторону Асеке.

Жамиля, конечно, ведать не ведала, что, проводив поутру своего мужа с нормальным носом, к полудню получит настолько изуродованный его портрет. Впрочем, если она и заметила раздувшуюся морду Мишеля, то виду не подала. Блюдя вежливость, она перво-наперво поздоровалась и, прерывая неловкую тишину, сказала безо всякого лукавства:

– Ну и жара! А я принесла вам кумыс.

Все четверо молча пошли за Жамилей в будку. Кто сел на табурет, кто на топчан. Асеке, опережая всех, подставил себя под удар:

– Мы тут с Мишелем решили побороться. На спор. Ну, он невзначай и упал. Вы уж простите чертова деверя.

– Ой, да ладно! Голова на месте – и слава Богу. Вы-то сами ничего, не ушиблись? – и, открыв бидон, она принялась доставать пиалушки.

Сигата и восхитила вежливость снохи, и слегка покорила. Она хоть их не упрекнула, но укор возникал сам собой: «Вы-то все целы и невредимы, а моего бедолагу вон как разукрасили!» Бекет вновь удивился: откуда это люди берут таких хороших жен? Она и впрямь была хороша. Вспотевшему, разгоряченному ходьбой лицу крапинки веснушек придавали неизъяснимо трогательный вид. А отяжелевшая походка и полная талия под широким платьем опять же непонятным образом лишь подчеркивали свободу и почти играющую легкость движений. Да полноте, она ли та легкомысленная и озорная девица, что чуть ли не со скандалом бросила родной дом и наперекор условностям сама пришла к Мишелю?

Пили кумыс, нахваливали. Да не притворно, не вежливости ради – от души. Он и стоил того. Настоянный на изюме, пенистый желтый кумыс был кислым в меру, жиринки таяли во рту, и сладость послевкусия напоминала кымыран¹, при всем при том он был густым и даже вязким, свидетельствуя, что это не просто напиток для утоления жажды. Сигат, будучи гурманом и эстетом – ему важны были и вкус еды, и красота посуды – тихо блаженствовал. Он сравнивал вкус кумыса Жамили и Асем, и пришел к выводу, что напитки не уступают друг другу, и при этом порадовался, что молодежь при должном воспитании способна сохранить мастерство стариков, а может быть, и приумножить его.

¹ Напиток из верблюжьего молока.

– Да-а, пиала такого кумыса дороже иного калыма, – глубокомысленно сказал Сигат. – Одного не пойму: откуда у тебя, невестушка, изюм? Ведь его нет в наших краях.

– За кумыс скажите спасибо хозяину: он скотину держит в холе, – она как бальзам пролила на синяки Мишеля. – А изюм наш деверь-домбрист привез из Туркестана, – не забыла она воздать должное Асеке, по-доброму и от души, как у многоопытной байбише, умеющей не выметать сор за порог и хранить покой очага.

Жизнь по указке сверху и здесь, на Алтае, замордовала людей, и благородные аульные старухи, хранившие душевный свет, исчезли, вымерли. Тем более Сигат был восхищен Жамилей. И закралось сомнение: неужто ее воспитал Масакбай, этот высохший вредный стручок, зануда и скряга, о котором никто слова доброго не скажет? И, слава Богу, не иссякла в народе здоровая сила, а значит, на вопрос Мишеля: «Кто я такой?» – имеет смысл поискать ответа. И, глядишь, не совсем безнадежным будет он, этот ответ.

2

Миграция народа – его беда, его трагедия. Это Сигат понял еще по молодости лет. И после, взрослея, он часто задавался вопросом: когда же были сняты сливки нации, когда был уничтожен цвет народа? Все сходилось на скорбной дате – июнь 1916-го, когда поднялись две волости Каратая, и Алтайские горы, погруженные в вековечную дрему, содрогнулись от грозной стихии. Вот именно – стихии. Не было вождя, не было того, кто указал бы смысл и цель борьбы, кто поднял бы знамя. Люди, ослепленные гневом, заблудились в пыли, что поднялась из-под копыт их же собственных коней, не нашедших дороги. Молоко, вскипевшее на очаге без надзора, гасит очаг. Толпа, измученная неясностью желаний и сомнений, попала в руки неизвестного Хаджи и в отчаянии прокричала, что готова поднять белое знамя Пророка. А народ, ставший толпой, ничего не добьется. Половину его увели за кордон, подставив под сабли китайского императора, и люди погибли в муках. И что уж говорить о белом знамени веры, когда не было савана, чтобы достойно предать земле погибших. Ну, а те, что остались по эту сторону границы, – что могли они сделать против необоримой силы белого царя? Тот приходил в неистовство, когда дело касалось карательных мер. Правда, что волостной Абдик начал было собирать повстанческий отряд, но, опять же следуя совету мудрого Сапы, чтобы народ не обрекать на гибель поголовно, он взял от каждого из десяти дворов по одному мужчине, решив отделаться хотя бы малой кровью от всей этой напасти. И глядя сейчас на своих разнесчастных сородичей, Сигат скорбел: ну до чего же измельчал народ! Да и как не измельчать ему, когда целый век бушевали такие пожары, и опустевшую родину что может заполнить еще, кроме чахлой поросли, что с грехом пополам тянется к солнцу на месте сгоревшего леса. Из двенадцати сыновей Балкобека остался лишь один Сапа. Остальные, надеясь на лучшую долю, подались за кордон. Там поджидала их сабля китайского императора, здесь – пули царских карателей. Богатый выбор... А то, что у Сапы было много скота, так ведь этот скот не только его, но и тех одиннадцати братьев, что сгнули в кровавой бане шестнадцатого года.

Потом тоже много всякого разного было. Один Октябрьский взрыв чего стоил! А дальше – без продыху: коллективизация, индустриализация. Жить становилось лучше, жить становилось веселей. Только живых оставалось всё меньше. Да и

те прошли селекцию в войне с фашизмом. Вот и остались рахитичные Мишели, Бескемпиры – пустозвоны да тыквоголовые нерассуждающие работяги. Другим откуда взяться?

Говорят, казах должен знать семь колен своих предков. Так-то оно так, но откуда сироте знать, что было у него семь колен назад, если он не знает, что будет с ним семь дней спустя? Не отсюда ли горечь вопроса: «Кто я такой?». Каратай – край безродных бродяг, край сирот, не помнящих родства, край калымщиков, вотчина «дикой» тайги. И, слава Богу, в их душах забрезжило это: «Кто я такой?». И, слава Богу, что хоть немногие из них, как этот нелепый Мишель, потянулись к собственному дому, обзавелись семейным очагом, осознали, что можно и нужно жить по-людски. Может быть, так оно и зарождается в человеке, чувство родной земли, чувство родины? А это вселяет надежду.

Подумать только, плоток кумыса, его вкус и запах опрокинули Сигата в прошлое, заставили ощутить всю горечь настоящего. Он так ушел в себя, в свои переживания, что, очнувшись, не вдруг осознал, где он находится. И как бы заново увидел маленькую будку дорожного пикета, и всех своих нукеров, которых ему бог послал. Мишель уже разделался с большой бараньей костью, раздев ее догола, но никак не желая ее выпускать из рук, и лишь ослабил хватку, чтобы запить кумысом из ковша. Жамиля воспользовалась этим и, заслонив мужа от глаз Сигата, смахнула кость в мусорное ведро и забрала ковшик, как бы желая взболтать кумыс. И то и другое вызвало резкий протест Мишеля:

– Тебе жалко обглоданной кости?

Увы, Мишель не знал, что кость глотать позволительно лишь псу, и принародно пить кумыс, как воду, как шалап, пить до отрыжки, до икоты – ну неприлично, вот и всё! Хотя, конечно, Мишеля нельзя не понять: этот чертов старик, отец Жамили, не дал ему путем поесть, и брюху Мишеля было не до приличий, оно властно требовало, чтобы вопреки всему его набили, да как можно плотнее.

Сердился Мишель, краснела Жамиля. Впрочем, как всегда, она пришла на выручку мужу:

– Тебе холодная пища вредна. Чуть позже я снова наведаюсь и принесу чего-нибудь горячего.

Бекет, семь лет хлебавший с Мишелем бурду из одной миски, не придавал никакого значения инциденту, но для Сигата всё это было внове, и он пришел на помощь Жамиле и Мишелю:

– Кумыс и вправду настолько хорош, что пить его без меры непростительно. Его можно лишь смаковать.

– И то верно. Конец – делу венец, – сказал Асеке, выпустив кольцами табачный дым изо рта и тут же искусно втягивая те кольца носом.

Кому он сказал это, к чему? Поди разберись. Но не успел он втянуть в себя последнее колечко дыма, как раздался грохот колес, и куцехвостая кобыла-трехлетка остановила у шлагбаума громадную телегу, которую тащить впопыхам трактору, а на телеге восседал высокий и тучный старик, прикрывший голову бориком из лисьих лапок:

– Эй! Что здесь – ящур обнаружили? Зачем шлагбаум? Объявлен карантин?

Говорил он зычным крепким голосом, оставаясь при этом неподвижным, как сноп или огородное пугало.

– Доброго пути, аксакал! – сунулся вперед Асеке.

– Доброго, не доброго... Ты-то здесь при чем?

– Я при деле. Куда путь держите?

– Тебе не всё равно? Давай, открывай свою задвижку, – при этом старик даже головы не повернул, удостоив кривоносого косым пренебрежительным взглядом.

– Э-э, нет, аксакал! Пока не ответите, мое полосатое дышло дорогу вам не откроет.

– Может, я хочу поссать вон за тем поворотом? Что – тоже будешь проверять?.. Не бойся, за кордон не свалю. Не веришь? Ну так и быть: к оленеводам я. Выкупаюсь в пантоварке и вернусь.

– А медсправка есть?

– Чего-о?

– Справка. Эпидокружение, то да сё...

– На что тебе?

– А ну как у вас чесотка? Или еще какая зараза?

– О Господи! Чтобы мне сунуть мой радикулитный зад в пантоварку, вам нужна справка? – старик всё же повернул свою мощную шею. Она была под стать бугаю или барану-производителю. – Какая может быть зараза? У меня две жены. И сплю я с обеими. И если я помру, моя токал сможет выдоить еще не одного мужика.

– Во! Тут вы и попались, аксакал. Мы можем потребовать от вашей жены заявление. Что она не в претензии на вас.

– Может, вам еще и пустые пачки из-под презервативов предъявить?..

Видать, Сигат подал знак прекратить дознания, потому как полосатое дышло шлагбаума поднялось и куцехвостая кобыла потащила телегу, стонущую от неимоверно тяжелого груза. Интересно, как этот идол взобрался на телегу? Может, подъемный кран подгоняли к воротам его дома? И ведь не просто уехал, а пригрозил напоследок:

– Ты постой здесь до следующего года. Я вместо справки привезу свою токал. Она тебе всё объяснит..

Конечно, городских они имели возможность тормознуть и прощупать. А для местных какие могли быть преграды? Чуть позже, когда созреют кедровые орехи, и вовсе никого не удержать: кому надо, просочится как вода сквозь сито. Хотя вся эта канитель со справками и эпидокружением навела директора на ценную мысль, и он послал Котыгина в медпункт за Меруерт. Сам же в сопровождении своих нукеров пешком отправился на пантоварку.

– Простите, серэ-ага! – сказала Жамиля, собрав посуду. – Вы ни разу не были в нашем доме. Мы хотели бы вас пригласить, но... Я не знаю, сумеем ли мы достойно принять такого гостя?

Всё же возраст делает человека сентиментальным, подумал Сигат. Простое, в общем-то, внимание и уважительность тронули его почти до слез. Как его называли обычно? Молодые – «Секе», подхалимы – «Серэ», кое-кто мог по-панибратски сказать ему: «Серый». Но «Серэ-ага» – так назвали его впервые.

– Спасибо, Келинжан. Даст Бог, на крестинах отведаем твоего угощения.

– Само собой. Но как бы ни был скуп хозяин, он и сейчас ради такого случая не пожалеет стригунка, – и Жамиля посмотрела на Мишеля.

А того то ли жара сморила, то ли совсем отупел от еды:

– Ну-у, начинается. Стоит ее похвалить, она готова выставить на стол последнее, что в доме есть. Нельзя же быть такой простодырой!

Вот уж о ком это следовало сказать, так это о нем самом. А Жамиля... Что Жамиля? Живет в глухомани, на отшибе, вся в круговерти быта и повседневных забот. Что может скрасить ее серые будни? Грубоватые нежности мужа, который порой – чурбан чурбаном. А так хочется хотя бы изредка увидеть новое лицо, услышать новый голос и незатертые слова, которые наполнили бы душу светом и дали передышку сердцу, что истомилось от скуки и однообразия.

– Ладно, невестушка, – сказал Сигат. – Не утруждай себя. На обратном пути мы заедем. Нам хватит самовара чая. Этим, думаю, батыра мы не разорим?

Они направились в сторону пантоварки.

Мишель остался наедине с полосатым бревном, крайне растерянный:

– А я что буду делать?

– Тебе виднее, – сказал Бекет. – Хозяин участка кто у нас? Ты.

– Да после угроз Асеке никто не сунется, – успокоил Мишеля Сигат. – И потом: почему он должен торчать здесь, сторожить эту будку? У него полно своих дел и, если уж на то пошло, здесь, на этом пикете, надо открыть пожарный пост. Я говорю это вам, товарищ главный лесничий!..

– Вот это уже дело, – воспрянул духом Мишель и подхватил сумку Жамили с посудой. – А барашка, хотя бы тощенького, надо заколоть. Начальство это любит, начальство оценит. Верно я говорю, Жамиля?

...Пантоварка напоминала только что раскинутый табор. Или аул, прикочевавший сюда издалека и еще не успевший обжиться. Палатки, шалаши, крытые тентом машины. А в полукилометре виднелся станок для снятия рогов. Сигат еще издали заметил долгоязого краснолицего парня, тот верхом на коне напряженно высматривал что-то в бинокль на крутом склоне оврага. Парень, правда, спешился на минуту, но только чтобы поздороваться, и тотчас снова вскочил в седло.

– Старшой! Старшой!.. – послышались голоса от березовой рощицы из оврага. Конь в нетерпении плясал под седоком, а парень всё смотрел в бинокль.

– «Старшой» – это титул такой или должность?

– И титул, и должность, Секе, – оторвался на миг от бинокля Айтказы. – Мой дед был старшой, отец был старшой. Теперь вот я... А если попросту сказать, ну это значит... старший мараловод. То есть старший пастух, вот и все.

– Значит, над пастухами пастух.

– А как же! Их если матом не шуганешь, толку не будет. Да русским матом, он и забористее, и понятней.

– Особенно для здешних.

– О чем и говорю. У нас, что ни казахская семья, половина имен – русских. Нет, ну «старшой» звучит, а? Должность, конечно, собачья, но вроде титула наследственного.

– Тогда я за тебя доволен. Только вот что: людей ты погоняешь по-русски, а скотину?

– Скотина еще один язык понимает – хороший уход... Ай, нагаши! Всю подноготную хотите у меня узнать. Будто собрались подарить сорок коз, не меньше, – хитро усмехнулся Айтказы, нежданно-негаданно записав себе в дядья Сигата. – А вообще у нас тут всё давно перемешалось: Тулкебаевы стали Лисицыными, Каскыровы – Волковыми, Ешкылбаевы – Козловыми. А нам какая разница? Стою вот день-деньской, смотрю в бинокль, выглядываю: из какого ущелья мой нагаши пригонит мне в подарок сорок коз?..

В лесу – тишина, даже воробьи приумолкли. Аул, что вдали, тоже оцепенел от зноя. И в этом полусонном царстве десять джигитов верхом на конях уже часов пять подряд носятся как полоумные, пытаются догнать и загнать в станок для снятия рогов двух оленей-быков, которым на склонах Актаса – ну всё нипочем! Заговоренные, что ли, зверюги? А ведь у парней эта скачка – без передышки, без остановок, у них с утра, поди, маковой росинки не было во рту... Вот они, как с горки брошенные камни, стремглав скатились вниз и, судя по всему, увидели рога олени, торчавшие из густой высоченной травы, потому как вороной у старшого, не дожидаясь понуканья седока, рванул наперерез оленю. А тот, оставаясь верным своей природе, не глядя под ноги, задрал вверх голову и как бы презирая преследователей, пренебрегая подстроеной ему ловушкой, поплыл над землей – иначе не скажешь! – являя собой в этот миг воплощенную красоту.

Дальше – путь в неизбежность. Пятиметровый забор. Одна за другой – пять изгородей, в каждой – по коридору. И коридор за коридором – всё уже и теснее, а в последний проход не втиснется и всадник, вспять не повернуть, олень сам входит в станок и замирает, ожидая своей участи. Он словно вместилище смерти – этот пропахший кровью станок. Олень лишь почует запах, встает на дыбы, в ужасе пятится, будто перед ним появился медведь. Но зев станка неминуем, и уже с десятков оленей, пятясь в яростном страхе, уперлись намертво, чуть ли не по самые бабки вонзая в землю ноги. Даже острые соилы, вонзаясь им в бока, не могли их сдвинуть с места. А эти два быка, вконец замучившие парней, оказались и вовсе строптивыми: лишь приблизились к коридору и дальше – ни на шаг. Один из них здоровенный серый бык, рога у него, как старый карагач, отряхнувший листву, второй – сухопарый и урысливый четырехлетка. Когда кони стали теснить их, заставляя войти в коридор, серый бык, норотивший наперекор всему повернуть назад и всё старавшийся встать поперек и боком, вдруг встал на дыбы и сильно ударил четырехлетку передними ногами. Тот, рванувшись вперед, рухнул на землю: у него был переломлен позвоночник. И старшой тут же крикнул своей братии: «Давай нож!»

Еще минуту назад красавец-олень был полон играющих жизненных сил, и вот он лежит с перерезанным горлом, в мгновение ока спилены рога, и глаза затуманились смертью. Был зверь – и нет зверя. Пять часов кряду бегал, уходя от людей, от станка. Зайди он сам, по своей воле, в станок, рогов лишился бы, стал бы менее красив и надменен, но был бы жив. Так нет, он предпочел смерть позору.

Олени почуяли кровь, стали бить землю копытами, изгородь и ворота дрожали.

– Вот так-то, – подвел итог Айтказы, вытирая кровь на руках о шерсть еще теплого оленя. – У марала и у оленей вся сила в передних ногах. Не знали? Теперь едва ли забудете. Медведь и тот может забить оленя только спящего. Волк? Куда ему!.. Олениха, когда ее детенышу грозит опасность, не остановится ни перед чем, тогда уж ее страшнее зверя нет. А самое уязвимое место у оленей – рога. Олень, бывает, в такую чащобу забежит, что черт голову сломит, но рогами не зацепит ни один сучок.

Оно, может, и правда: кольни иглой – кровь так и брызнет фонтаном. Надо же, сколько лет я прожил рядом с оленеводами, а ни разу не удосужился к ним подойти, подумал Бекет. Смешно сказать, и Асеке подумал о том же. Близко он марала не видел путем, один только раз, было дело, таскал голову сохатого, которого загубил эта сволочь Ситан.

– Старшой! – у пастухов возникли вопросы. – В станок всех быков загонять? Или часть вернуть на пастбище?

Айтказы приосанился в седле, будто парад принимал. Еще раз пересчитал рога одиннадцати быков. И повел подбородком в сторону прохода, ведущего к станку:

– Давайте всех!

Между тем два джигита начали разделявать оленя с переломанным хребтом.

Сигат подозвал Айтказы:

– Голова и ноги быка – твои. А тушу взвесь – сколько в ней будет? – и отправь на кордон Мишелю. Деньги я тотчас же в кассу плачу.

– Голова и ноги? Пусть они останутся вместе с тушей и тоже украсят дастархан. А нам нужны рога и шкура.

– Тогда и сам приезжай вечером. Заодно вручу тебе твоих сорок козлят, – усмехнулся серэ и еще раз глянул на тушу быка. – Кстати, директор не будет в претензии?

– Но вы же его не обделите куском мяса? – раздался голос с одышкой, принадлежавший явно тучному человеку.

Все разом повернулись к источнику этого голоса. Все, но не Сигат. Он лишь сказал, так и не обернувшись:

– На ловца и зверь бежит, – и восхитился даже: – Ну и нюх у тебя! За версту свежатинку чувствуешь.

– Что делать? Как-никак внук Шонмурына. Мой дед и впрямь за версту знал, чья похлебка вкуснее.

Кабылхан, директор совхоза, был, как говорят, мужчина в теле, причем в очень толстом теле. Машину он оставил у подножья холма, и правильно сделал: ее лошадиных сил наверняка не хватило бы поднять в гору такую тяжесть. Холмик он одолел самопехом, «мотор» его работал на пределе, одышка тоже была максимальной, пот с него лил в три ручья, капая чуть ли не через рубаху, и весь он походил на пузатый бочонок в белых штанах.

Джигиты, заорав в десять глоток, будто брали неприятельский корабль на бордаж, пытались сдвинуть серого быка с места. Трещали соилы, трещал забор, готовый рухнуть. Дым стоял коромыслом, а серый бык, прижав к холке ветвистые рога, застыл как вкопанный, дико вращая глазами.

– Веревку! – подал команду старшой.

Станок в двух шагах, но они длиннее двух верст. Уже десять быков стали безрогими, а этот, одиннадцатый, как заколдованный, ни с места. Подтягивая его арканами, подталкивая ломом, вконец выбившись из сил, парни всё же дотащили серую громадину до станка.

– Вот так, нагаши! – старшой наконец отбросил пилу для срезания рогов. – Вот так каждый день.

Он закурил. Весь в крови, вены на лбу вздулись от перенапряжения, пальцы дрожат:

– Мы кичимся: мол, промысел дедов. А что хорошего? Вот эта дедовская пила, да вот этот древний станок... Но вы-то, нагаши, теперь поняли, что такое «старшой»?

– Двадцать пять кило! – объявил джигит, взвесив рога.

– Вот те на! А почему не пятьдесят? – устало произнес Айтказы.

Серый бык, лишившись рогов, вышел из станка и, все так же задрав башку, величаво стоял на взгорке, хотя от бывшего величия остался пшик...

В это четырехугольное корыто вмещается цистерна воды. Если с утра под ним развести огонь, то к обеду содержимое корыта, может быть, и закипит. Кипит оно вяло, как бы нехотя. Но это кипит не вода, это кипит бульон из рогов пантачей. Над ним колдуют два джигита. В руках они держат рога. Парни пристально вглядываются в глубину корыта, будто собираются туда нырнуть. А заняты они тем, что попеременно то вытаскивают из бульона четыре рога, то снова опускают их. Работенка вроде не тяжелая, но видно, что вымотала она парней вконец. Здесь же рядом – нары. Старшой как пришел сюда, так и рухнул на них. Лицо полыхает, будто у парня температура под сорок, нос заострился.

Это и есть пантоварка. Затхлый запах крови, прогорклый жар тяжелых поленьев листвяка и разношерстная толпа. Люди стоят с флягами, тазами, ведрами, люди сидят под дверями, под окнами. Люди ждут, им нужен бульон. Здесь и свои, аульчане, и не очень свои – из райцентра, здесь гости из Алма-Аты и даже из Москвы и Ленинграда. Лечиться приехали. В это трудно поверить, но если каждый день в течение двух недель принимать здесь ванну из теплого бульона тех самых рогов, то исчезает начисто радикулит и приходят в норму так называемые нервы, вопреки расхожему мнению, что нервные клетки не восстанавливаются... В общем, шагу не сделаешь, чтоб не споткнуться о какую-нибудь посудину, засунутую под навес пантоварки, в клетушки и сарай, где можно хоть как-то укрыться от глаз, чтобы принять процедуру. Прекрасной половине человечества отдали старую баню, где женщины изощрались в одном весьма искусном деле: надо было суметь в предельно малую посудину поместить предельно крупную часть собственного тела – например, бедро. Посреди этого плесканья и хлопанья носились взад-вперед парни, маршрут их был неизменен: гигантское корыто с бульоном – баня – навес – и обратно. Причем в этом магическом треугольнике всё подчинено строжайшему режиму времени: рога нельзя секунды лишней передержать в кипятке, равно как с точностью до минуты надо принимать процедуры, дабы не переборщить. Рога, подвергнутые тепловой обработке, помещают под прохладный навес, чтобы уберечь от прямых лучей солнца. Повторять всё это надо трижды, иначе рога – не рога, иначе не сохранить их целебные свойства.

– Так и живем, нагаши, так и работаем, – как бы подвел черту старшой. От хронического недосыпания глаза у него воспалились и видно было, что он готов уснуть там, где стоит. – И такая дребедень – каждый день, каждый день. Вплоть до сентября. А в сентябре начинается сдача заготовленных рогов, тоже хлопот невпроворот. А там, глядишь, зима настала. Ну, какая зима у нас, знаете сами. Медведь на что выносливый, и тот впадает в спячку, иначе едва ли бы он зиму перенес.

Те, кто уже принял процедуру, дремали, разморенные жарой и благодатным покоем, который дарует лечение. Они едва ли думали о суровой здешней зиме, о тяжелой работе, на которую обречены Айтказы и его команда.

– Эй, старшой! Если кто из них свалится в чан, я отвечать не буду.

– Ну, яз-зви тя, как они мне надоели! – старшой, прикорнувший было, поднял голову. – Ни сна, ни отдыха измученной душе. Того и гляди, кто обварится или подожжет чего-нибудь, обрушит пожар на мою голову.

– А ты окна закрой и снаружи замок повесь амбарный, – сказал Сигат. – Сегодняшний топтогон на этом закончится, а дальше Асеке с Меруерт примут меры.

Окна закрыли, замок повесили, и разношерстная толпа, что подпирала стену, позвякивая тазами и ведрами, подняла гвалт, будто стая воробьев, которую шуганули от проса. Как водится, из общей массы высунулась шустрая бабенка и, готовая костями лечь за общее дело, развыступалась громче всех:

– Эй, кто это под замок упрятал помой, которые впору собаке лакать?!

По странному стечению обстоятельств то была кривоногая иноходка Матпусы, его жена-раскрасавица.

– Спокойствие, женеше, только спокойствие. Если есть справка, я тебя искупаю в бульоне – всю, с ног до головы.

– Справка? О Господи! Какая справка?

– О состоянии здоровья. И об эпидокружении.

– Эпид... чего? У меня окружение знаешь какое? У меня их пятнадцать, мал мала меньше. Да пятнадцать раз выкидыши были.

– Вы что, хотите, чтобы выкидыш был в шестнадцатый раз?..

Меруерт с чемоданчиком пришла в самый разгар страстей. Медик в белом халате подействовал на страждущих как белый медведь, явившийся невесть откуда. Побросав тазы и ведра, толпа начала рассеиваться, и у дверей замешкалась лишь зачинщица бунта.

– Ну-с, дорогие друзья-товарищи, – ткнул вслед отступавшим своей «Шипкой» Асеке, – теперь надо раздеться и пройти обследование. Женщины могут сделать это в баньке, мужчины – вот здесь, под навесом. Как это: зачем? У одного сердце слабое, у другого давление скачет, у третьего... да мало ли что? А ну как кто-нибудь в корыте дух испустит?! Это же, извините, уголовное дело – за это, знаете ли, по головке не погладят...

– Мне – раздеться? Догола?! – жена Матпусы тазик выронила из рук. Тазик брякнулся в испуге и затих. – Да меня мой муж, отец моих пятнадцати детей, ни разу голой не видел! Он, можно сказать, только ощупочкой знает, где у меня что. Я даже ему ни разу это не показала. А вы хотите, чтобы я вам... здесь, сейчас!

– Мы – не хотим, – решительно отверг ее предложение Асеке. – Мы на чужую собственность не заримся. Всё будет в целости и сохранности. Гарантия полная!

Людам вместо слова «гарантия» послышалось грозное «карантин» – причем «карантин полный», а он бывает, если какая-нибудь зараза, как пожар, пожирает аул. И люди с воплями кинулись наутек. Когда Сигат минутой позже глянул во круг, он увидел, что поле боя покинуто «недругом», а среди опрокинутых тазов и ведер насвистывает что-то мудреное кривоносый егерь, невозмутимо дымя своей «Шипкой».

– Он как затычка в каждой дырке, всюду нос свой сует!

Кабылхану не нравился Асеке. Обняв полный живот, он подминал толстым задом дырявый тазик, поставленный на попа, и тазик стонал и кряхтел, сплющиваясь под непомерным грузом.

Сигату не нравился Кабылхан. И Аллах с ней, с его толщиной непомерной – пусть жиреет, если ему это надо. И даже темные круги пота под мышками кабылхановой рубахи не вызывали в Сигате привычной брезгливости. Но был он скользкий, будто его намылили и забыли обмыть, в глаза прямо он не смотрел, и от прямого ответа тоже ускользал как угорь. Давненько он не попадался под руку Сигату.

– Слышь, Кабылхан! У тебя под задницей сколько гектаров лесхозовской земли?

– У меня? А что? Ну, тысяч двадцать шесть.

– А сколько лет ты директором?

– Я-то? А что? Уже семь.

– Так-так. Значит, семь. Хотел бы я знать: ты за эти семь лет хотя бы семь прутиков в землю воткнул?

– Я? А при чем тут я? Это дело лесхоза.

– Ах ты, умник какой! А тебе приходило в голову, что территория лесхоза – это заповедник? Что безнаказанно колесить по нему на машинах нельзя? Что весь этот приبلудный люд, что тянется к пантоварке, здесь неуместен? Они ведь, чтобы еду приготовить, костры разводят. А сушь, ты видишь, какая? А ну – пожар? Тушить кто будет?

– Так вот сразу – пожар, то да сё. Ты за лесом людей не видишь. А людям надо помогать, о них думать надо.

– Во! Тут ты в точку попал. Тебе бы гостиницу надо построить для этих людей. Ванны сделать для них. А ты... сиднем сидишь и задницу тебе лень с места сдвинуть.

Сильно не в духе был Сигат, когда сел в машину. Его всё раздражало. В том числе и собственная дочь. Всё же ей, как-никак, за двадцать, пора женское достоинство обрести, а то ведет себя... как девчонка. Вот что она там замешкалась, ждать себя заставляет? Раздражал его и Бекет: будто аршин проглотил – ни улыбнется, ни слова путного не скажет. Он будто бы только сейчас увидел плоскую макушку Котыина, его свернутые уши. Ишь. Как только жена спит с этим чурбаком?.. Он и себя не пощадил при этом, совсем заслонил лобовое стекло. Создал же Аллах такое недоразумение! Ну да, а сам ты что – лучше их? Такой же тугодум и недотепа. В нем поднималась тошнота и росло отвращение, будто он встал с грязной постели неряшливой женщины. Он не хотел ругаться. Но его доконали толкотня и бестолковщина вокруг, в которых он и сам был повинен. Двадцать лет руководит он лесхозом, двадцать лет опекает он весь этот сброд. А толку что? Они хоть чуть-чуть стали лучше? Лень, воровство, неуют и бесстыдство. Разгильдяйство полнейшее. Ради бутылки готовы черту душу продать... О людях думать надо? Ишь чего запел! Так не потакать же им в их беспросветной дурости, а может, и кнутом огреть, если совсем уж стыд потеряли. Вот рылом он вышел – ничего не скажешь, мужик симпатичный, но зачем же брюхо тебе непомерное, что ж ты себя так распустил?..

У ворот стоял человек лет шестидесяти, в фетровой шляпе и в шортах, через плечо – легкая сумка, в ней полотенце и термос. Сразу видно – нездешний. Котыин, подбиравший всех встречных и поперечных, увидев поднятую руку, обрадовался незнакомцу, будто тестю родному. А этот, в фетровой шляпе, сразу не полез в машину, вначале он вежливо подал Меруерт какие-то бумаги.

– Ну вот, – смутилась Меруерт. – Вы уж нас извините, что мы вам дали от ворот поворот.

– Что вы, что вы! – замахал тот руками. – Меня это даже обрадовало: наконец-то наводят порядок.

– Вы издалека?

– Из Ленинграда.

Сигат тотчас уши наострил. Пристально глянул на бородача в фетровой шляпе. Кого же он напоминал ему? Нет, не припомнить.

– Остановились где?

– Да у меня тут родственников много.

– Садитесь, подвезем.

– Нет, я уж пешком, для здоровья полезнее, – он тоже пристально посмотрел на Сигата. – По-моему, мы где-то виделись, а где – запомнил.

– Вспомните – дайте знать. Пришлю машину.

– Премного благодарен.

От этих слов Сигат чуток оттаял. Где же я видел его? Ленинград, Ленинград... Может, в Лесной академии? Нет, не там.

– Кто же это, кто?..

– Соловьев Василий Иванович, – ответила Меруерт, она не зря смотрела в документы. – Доктор биологических наук, профессор. Невралгия. Эпидокружение чистое...

– И ты молчала! – возмутился Сигат. – Господи, до чего же неудобно всё вышло.

– А я здесь при чем? – обиделась она.

Машина резко тормознула, и Котыин, направив свое свернутое ухо в сторону начальства, замер. В салон пахло жирной пылью.

– В чем дело?

– Так... ни в чем.

– Чего стоим?

– Так... надо бы... взять того человека.

– Спихватился. Теперь уже неловко. Вечером с главным лесничим съездишь за ним.

Затылок Бекету обжигало горячее дыхание девушки, ухо пощипывало от холодного колкого взгляда ее строптивого отца. Тут лучше сидеть и помалкивать, чтоб не схлопотать себе на орехи, в который уж раз решил он.

3

На Алтае ночь особая, с тревожащим ветерком, несущим студёный холод с дальних ледников. Конечно, среди душного лета тот ветерок животворен, хотя пронизывает до костей и человека и зверя, в какой бы теплой шубе ни был и тот и другой. Зато век мух и комаров, по счастью, короток. Ну с месяц они покоя не дают: где-то в июле появляются, в августе их уже нет. Замечено: пока нет рос, вся эта нечисть свирепствует, донимая людей и животных, а как падут росы, так и приходит конец комарью и прочему гнусу.

По ночам на Алтае и река затаивает шум, и лес скрадывает шорохи, чтоб спали все, кроме сов, чтобы не нарушить тишины и покоя. Казалось, даже течение Бухтармы замирает, и блещит она, как стекло под луной, и тоже дремлет, набираясь сил. А лес, что подступил вплотную к берегу, стоит не шелохнувшись, пугаясь своего отраженья в воде, как будто там, за рекой, не такие же точь-в-точь деревья, а вражеское воинство, готовое напасть, ошеломить, взять в плен.

Костерок, разведенный на берегу еще засветло, горит ни шатко ни валко, где и вода в казане закипела, нет ли – не поймешь. Тусклая лампочка, подвешенная к дереву, не то чтобы светит, а лишь обозначает свет, качаясь на ветру, пугая деревья неясными бликами.

Это всё придумки Осипа: дескать, ночью таймень идет на огонь и наживку глотает не глядя. Вот и похватили удочки, спустились к берегу, а улов – пять рыбешек. Какая там уха?! Зря вода в казане выкипает. Мишель уже три раза приносил куырдак для подкрепления горе-рыболовам.

Жакып, ему дай только повод поехидничать, конечно, поддел старика:

– Плохо ты пасешь своих тайменей, дед. Так они и поплыли на твой огонь сдуру!..

Он разговаривает с дедом будто с ровней и больше ни с кем не позволяет себе так шутить.

– Ну да! Ты еще пригласи за дастархан тайменя, – огрызнулся дед. – Куырдаком его попотчуй да кумысом. А то и рюмку ему поднеси. Гогочут тут, спорят. Всю рыбу распугали...

– Да рыбу не мы напугали, а ты. Страхолюдней тебя едва ли в лесу кого сыщешь. Вот и со старухой не ужился, сбежал от нее. А если спорим, так опять же кто плеснул керосинчику в спор? Ты...

Что правда, то правда: сбежал от старухи дед Осип, не согласилась она переезжать с ним на лесхозовскую пасеку. И он, оставив ей, чтоб не скучала, внука, махнул в тайгу – к тайменям да пчелам. Он пока и с топором в ладах: то сани наладит, то, глядишь, в рубке леса участие примет. Он с чего тут начал свою жизнь? А со скандала: заставил разобрать уже срубленный дом Жакыпа. Зачем? А затем, что не зная броду, не надо бы соваться в воду. Непонятно, да? А чтобы понятней было, знайте, что сосновые бревна в стену как попало не кладут: у сосны есть лицевая сторона и есть тыльная. Так вот, надо чтобы южным краем ствол смотрел наружу, а северным – внутрь. Потом бревно должно не меньше года сохнуть – тоже азбучная истина. Ну и печь так не кладут, ее пришлось переделать. В общем, собирался Жакып нынче в дом войти, ан не вышло, старик оттянул это дело еще на год.

– Нет, Саке, тут без начальственной руки не обойтись, – опять взялся за свое Жакып. – Во-первых, я вправе требовать возмещения ущерба. Во-вторых, либо вы призываете к порядку этого старого разбойника, либо я подаю на него в суд, – и, понизив голос, Жакып выложил главный свой козырь: – Он скрывает доходы, он старухе не доплачивает алименты. Да если какой-нибудь браваый парень возьмет на заметку эти факты... этот криминал, нам всем не поздоровится, – при сем выразительно глянул на Абдижапара, давая тому понять, что он и есть тот самый «бравый парень».

И хотя вся эта бредятинна была шита белыми нитками, Абдижапар клюнул даже на такую сомнительную приманку:

– То-то я смотрю, он так и стелется перед начальством. Ишь, на рыбалку вытаскил, – и мудро подытожил: – Знает кошка, чье сало съела, и отчего катыш у нее в заднице застрял.

Он, видать, готов был прямо тут настрочить анонимку, но неожиданно получил отлуп от Сигата, который знал, что против фактов кляузник не поперет:

– Рубка дома с печью сколько стоит? Семьсот рублей. Ему их заплатили? Как это – нет?

Абдижапар поскучнел. А Сигат потеснил его дальше в угол:

– Косяки на окнах и дверях тоже сам ставил? А сани кто ладил?.. Минутку: сколько ты ему заплатил? – тут уж он припер к станке Жакыпа.

– Я-то? – смутился тот. – Да мы это... по-родственному. Как-нибудь сочтемся.
– А вот это не надо. Дружба дружбой, а деньги врозь. Если тебе жаль его старуху, так ты ей и вышли те самые семьсот рублей.

– Мать честная! – удивился дед. – Я богатый, а сам об этом и не знал.

– В решетке вода не держится, а у щедрого деньги не водятся, – вдруг подал голос ленинградский гость, Василий Иванович, который помалкивал до сих пор, сидя с удочкой. Все язык прикусили, потому как сказал он это на чистейшем казахском языке, что было полной неожиданностью. Даже для Айтказы, в доме которого Василий Иванович вот уж два года подряд месяцами жил.

– Откуда вы так... по-казахски умеете?

– А что – разве это зазорно?

– Ну, вы прямо... Штирлиц. Не засветились ни разу.

– А надобы не было. И потом... Кержаки знают казахский не хуже вас, а то и лучше.

– Ну уж... лучше!.. – оскорбился Айтказы.

– А ты зря обижаешься, – Василий Иванович крючком задел прибрежный дерн, леска запуталась и, распутывая ее, он развернулся всем своим загорелым торсом к Айтказы. – Ты хоть раз заходил в местную школу? То-то же. А она не на отшибе, она в центре аула. И на каком языке там ведут преподавание – знаешь? А-а... И после этого вы хотите, чтобы ваши дети знали свой родной язык?

– Ну, школа не в моем ведении, – хотел отбрыкнуться Айтказы.

– Есть такая пословица: хоть бык чужой, да телята твои. Конечно, можно жить по принципу: моя хата с краю. Но тогда нечего обижаться.

Айтказы лишь вздохнул – крыть было нечем.

– А вот я заходил. И обнаружил, что школа, этот очаг знаний, не выписала на казахском языке ни одной газеты, ни одного журнала. Это порядок? В библиотеках по сути дела нет ни одной казахской книжки. Это как понимать? Да у нас на весь аул один Сигат Сапаевич читает по-казахски. Что – скажешь, не так? Я вот припоминаю, что во времена ликбеза казахские книжки зачитывали до дыр. А теперь? Вы сами язык свой на задворках держите. А ведь он, язык родной, как золото неразменное... И русского толком не знают, и родной свой казахский забыли.

– Ну, не совсем так, – попытался было оправдаться Айтказы.

– Так или не так, а ты старшой аула. Ты в нем хозяин. И должен думать о завтрашнем дне, – Василий Иванович цепко сидел на хвосте у старшого. – Я вот по-казахски песни пел бы, на домбре играл, но ни слуха, ни голоса. Однако не это меня удручает, а то, что два года подряд я к тебе приезжаю, и хоть бы разочек тренькнула домбра. Тебя это не тревожит?.. Ты знаешь, в двадцать девятом году я организовывал этот совхоз твой мараловодческий. После меня, правда, сменилось шестнадцать директоров. Бог с ними, я и не помню их всех. А вот название совхоза помню – «Катан». Это уже после переименовать да коверкать начали – «Катунь», «Верхкатунь», а то и вовсе – «Катон-Карагай». Годится ли так-то над языком своим измываться? Ваши предки здесь каждой скале, каждой речке, каждому распадку дали название: Шабангай, Коккала-Айгыр, Кокжота, Талдыбунак, Сарыалка. Где эти названия? Как вы могли их проворонить? Была Кокжота – стала Зеленая. Почему, по какому такому поводу? Вам держать ответ за это перед детьми и внуками. Почему нынешние Волковы, Лисицины, Козловы позабыли имена отцов и дедов – Каскырбаев, Жулкибаев, Текебаев?..

– Держи его! Держи, яз-зви тя в душу! – заорал вдруг дед Осип.

Все так и повскакивали с мест. А задремавший было у костра Абдижапар с перепугу сиганул как есть в одежде в Бухтарму.

– Удочку... удочку хватай, дурило, а то он ее утащит! – орал ему вслед дед Осип, имея в виду тайменя, заставшего враспloh рыбаков и пытающегося удрать с трофеем.

Но Абдижапару было не до удочки и не до тайменя. Абдижапар барахтался в воде, пытаясь не утонуть: плавать он не умел. До него никому не было дела, все кинулись за удочкой, и Абдижапар, нахлебавшись воды, возопил: «Караул! Умираю...». Умирать он собрался в бочажке, где воды было, как говорят, с наперсток, а если точнее – чуть выше колена. Асеке догнал его и выудил из воды в прямом смысле слова, подав ему одной рукой толстый конец удилица и оберегая от воды дымящуюся сигаретину «Шипки» другой:

– Спокойствие! Только спокойствие!..

Это ж надо было ухитриться: в сухую, ясную погоду вымокнуть до нитки. У Абдижапара зуб на зуб не попадал, он тянулся к огню, а у костра лежал здоровенный таймень – размерами если не с бычка, то с хорошего козленка.

– Да-а, мужики! Вы крупного тайменя выловили, но у меня рыба крупнее, – Асеке невозмутимо рассматривал свою добычу у костра. Абдижапар походил на мокрую курицу.

– А ты, парень, хват! – восхитился Абдижапаром дед Осип. – Я и не думал, что ты такой азартный. Так и сиганул за удочкой!..

Мужики, оставив в покое тайменя, окружили Абдижапара. Тот обалдел от ночного купания, от пережитого страха и, видно, с перепугу ничего не слышал, а может, в уши попала вода. Но он видел: все скалят зубы, смеются, и это его возмутило.

– Один ненормальный всех взбаламутил! – отвесил он комплимент деду Осипу и затосковал: – Я-то что здесь забыл? Нелегкая меня сюда занесла, да и только. А эти ржут как кони. Вот утонул бы я, тогда б вы посмеялись. Тогда б вас всех турнули с работы да по судам затаскали бы!

Он даже пожалел, наверное, что не утонул. Тогда б этим трем – Сигату, Бекету и Кабылхану – пришлось бы расхлебывать кашу. Ох и покрутились бы они у меня, ох и повертелись бы!..

И все представили себе, что было бы, в самом деле, если б этот клязник утонул. Он и с того света достал бы их. И у всех сразу же как-то сникло настроение, расхотелось рыбачить дальше, торчать у реки. Пора было сматывать удочки.

Мишель, прибежавший на шум, стал звать гостей к столу, и это было кстати, все с облегчением двинулись за ним. А не устроить ли этой вонючке еще одно купание, подумалось Жакыпу, он даже приотстал и вроде начал примериваться к Абдижапару взглядом.

Дед Осип просек эти мысли:

– Ты вот что, зятек. Ты дуй вместе со всеми. А его искупать если надо, я сам искупаю. С меня как с гуся вода. А то меня Толеш, отец твой, на том свете осудит.

– Толеш? Какой Толеш? – наострил ухо Сигат, услышав знакомое имя.

– Толеш Тохтара. Помнишь такого?

– Тохтар? Тот самый знаменитый вор?

– Вот именно – знаменитый.

– Ты сказал: «зятек». В каком это смысле?

– Ну не совсем зятек, но почти что родня. Хромого егеря дочку помнишь? Так вот Толеш ее сосватал ему в жены.

Сигат подивился: бывает же так – в один день увидел сразу трех людей, про которых и помнить забыл. Да вдобавок еще два имени из забытья возникли. Разве он думал, что в алтайской глуши встретится с человеком, о котором знал понаслышке и который пятнадцать лет назад дал очень и очень даже высокую оценку его диссертации в Академии лесного хозяйства. Он тогда лишь записал в блокноте фамилию: «Соловьев», – но познакомиться ближе так и не смог. И не предполагал он, что этот самый Василий Иванович – его земляк, больше того – первый директор совхоза «Катын». И еще одна новость: Жакып, оказывается, зять хромого егеря, в доме которого Сигат, бывало, дневал и ночевал – особенно вот это последнее: ночевал. А дед Осип – тот почти что родственник Толешу, отцу Жакыпа. Если уж дед на старости лет так хват, что от старухи лыжи навострил, то каким же огольцом он был в молодости! И где гарантия, что Жакып не приходится зятем самому Сигату, ведь столько времени подряд Сигат оказывал хромоту егерю весьма особые и, прямо скажем, двусмысленные услуги. Ах, это сердце горячее, пылкое, не знающее удержу, рвущее постромки, как норовистый, необъезженный конь!.. В народе говорят не зря: мол, сердцу не прикажешь, оно во всё идет наперекор казалось бы здравому смыслу. Родного племянника Бескемпира приветить не можешь, а сына недруга своего Есимхана пригрел под крылом, приголубил... Там идти-то совсем ничего – от берега реки до Мишелева дома, но и на этом кратчайшем пути успел Сигат основательно переверотить в памяти архив своей жизни.

4

Сыр-бор разгорелся из-за сломанного ребра. Жакып, резавший мясо, каждому гостю вручил, как оно и положено за дастарханом, кость. Разумеется, лакомую. И, разумеется, чем почетнее гость, тем лучше кость. Абдижапару досталось ребро, причем почти что голое. Мало того, оно оказалось сломанным, с хрящевым наростом, что было оскорбительно вдвойне. Абдижапар, и без того расстроенный вконец, потому как, играя в карты, дважды упал с мизера, дважды был пойман на девятке, попросту возмутился.

Ребро он бросил Кабылхану:

– Пусть гложет хозяин скотины!

Вообще-то ребро ему вручил Жакып, Кабылхан был козлом отпущения. А свалил Абдижапара на мизере, поймал на девятке и вывернул ему карманы Сигат. Но до Сигата дотянуться – руки короткие, Жакыпа тоже задевать небезопасно, вот он и отыгрался на Кабылхане. Кабылхан же был поглощен тем, что ковырялся в глазнице оленьей головы, которая двигалась по кругу от самого почетного гостя, а им был сегодня Василий Иванович, к менее почетному. Кабылхан даже не глянул на злосчастное ребро. Это еще сильнее задело Абеке. Последней же каплей, переполнившей чашу терпения, было то, что оленья голова наконец-то дошла до него, до Абдижапара. Перед ним был голый череп с зияющими глазницами и без каких-либо намеков на мясо, мясо съели те же почтенные предшественники. Он чуть не сдурел от злости. «Я что – собака подзаборная? Нет, ну так изгаляться надо мной!..» Ему хотелось прокричать всё это, но слова встали поперек глотки,

он не имел права на такой крик, потому как кругом был виноват перед людьми, и невысказанное приступами рвоты мучило его, жгло пищевод и душу.

– Спокойствие! Только спокойствие! – сказал Асеке.

А к чему и зачем сказал, никто не понял, разве что кроме самого Асеке да еще Сигата с Жакыпом. Опять издевка в адрес Абеке. И хоть он спас меня от верной смерти, вытащил из омута, думалось Абдижапару, но за его издевки я бы стер кривоносого в порошок. Нет, ну подвернись сейчас под руку ружье, я пристрелил бы его как бешеного пса, чтобы не повадно было насмешничать над невинными людьми, издеваться над ними, порочить их честное имя!..

Искореженное ребро было как бельмо на глазу, и Айтказы – вот добрая душа! – хотел было смахнуть его незаметно с дастархана, но Сигат – ну не ехидна, а? – краем глаза зацепил то ребро и не выпустил его из поля зрения:

– А любопытно: сколько ребер ломается за год? И какой от этого убыток?

– Аллах его ведаёт! А убытки – кто ж их считал? – Айтказы всё же смахнул с дастархана осточертевшую кость. – Да и вряд ли есть самцы, чтобы с целыми ребрами.

– Вот как!

– Они дерутся. И во время гона, и просто так, когда ихловишь или в станок загоняешь. Зверь без разума от палки не увернется.

– Ребро это чьё? Быка-четырёхлетки, так? В стаде он еще не был, стадо тут ни при чем. А вот в станке он разок побывал. Значит...

– Значит, в станке ему ребро и сломали.

– Ему одному?

– Да кто ж их учитывал – удары палкой? Пока рога ему срежут, раз десять ребра пересчитают.

– А быку все нипочем, да?

– Еще как почем! Пока не заживут бока, он не наберет веса. И в брачных играх он не участник. Да и рога весной плохо растут.

– Треп всё это! – хотел свернуть с невыгодной дорожки Кабылхан. – Главное – хороший травостой и нетронутые выпаса. А где их взять? Тут уж как повезет. Тут и убыток может быть, и прибыль.

– Ну, это уж отговорка, – не согласился с ним старшой. И опять свернул на старую колею. – Вы если пригляделись сегодня к быкам, то, наверно, заметили, что разветвления рогов у быков неважнецкие, кривоватые, да и рога тонки. Едва-едва потянут на второй сорт. А причин тому много, хотя все они известны, уши про них прожужжали. Да толку что!..

– М-да, к быкам-то мы сегодня пригляделись. И не только к быкам, – сказал Сигат тоном, не предвещавшим ничего хорошего. И ушел вроде как в сторону: – Говорят, дай огонь разводите тому, кто дров наломал, а скот дай пасти тому, кто его вырастил. Мы что? Мы народ посторонний: много что видим, да мало что понимаем. А вот хозяин скота, от его глаза не ускользнет ни одна мелочь. Так я говорю, а?

– Да что мы всё про скот да про скот! Других, что ли, разговоров нету? – пытался опять увильнуть Кабылхан. – Вы, серэ, нас пригласили сюда поди не для дискуссии?

– Ну, пригласил не я, а вот этот батыр, – Сигат указал на Мишеля. – И потом: тебе-то чего бояться? Казахи издревле за дастарханом решали любую тяжбу.

Можно весь день провести в словопрениях и ничего не добиться, а можно в пять минут за чаем договориться обо всем. Для дастархана тупиков не существует. Дастархан – это свято. Но я бы не сказал, чтобы вы очень-то привечали своих аульных родственников. Да что там родственники! Бог с вами, не уважайте друг друга, но ведь вы даже гостя из Ленинграда приветить не смогли, не угостили его чашкой чая. По-людски это, а?

Кабылхан поперхнулся. Упрек попал, как говорится, не в бровь, а в глаз. Мишель, суетившийся весь день, чтобы угодить гостям, наоборот, вознесся до небес. Он, правда, не предполагал, что всему этому обязан Жамиле... Какие гости в его доме, какой почет ему оказан уже одним тем, что они сидят за его дастарханом! Мишель переживал свой звездный час.

Кабылхан, припертый к стенке, вынужден был отбрехнуться:

– По-людски ли это? А где ты видишь людей? – он вытер руки салфеткой и, застругивая щечку арчи, процедил зло сквозь зубы: – У всех глаза завидущие, руки загребущие, и каждый тянет к себе. Каждый норовит прорваться к корыту и оттеснить от корыта другого.

Он сидел нараскоряку, едва умещаясь сам в себе, брюхо его было как буфет, на котором можно было сервировать застолье. Вот уж кто прорвался к кормушке и оттеснил других, так это он, тут Сигат, пожалуй что, не обманулся.

– У тебя, по-моему, треть аульчан в твоём совхозе не работает, – опять начал прищучивать его Сигат. – Кто в охотники подался, кто в пасечники, а к тебе не идут. Ты не задумывался, почему?

– А лодыри потому что. Пенкосниматели. Привыкли жить на халяву, а чтобы вкалывать – ни-ни. Из аула не уезжают, и в хозяйстве от них проку нет, только жильё занимают – нам бы оно ой как сгодилося!

– Насчет того, что лодыри, что жить привыкли на халяву, эту лапшу ты на уши кому хоть вешай, только не мне. От хорошей жизни люди не бегут. А суть вся в том, что совхоз твой попросту нищ.

– Ну, это надо доказать!

– А доказывать нечего. У тебя более или менее зарабатывают двенадцать человек, что пасут оленей – вот, под началом старшого. Остальные на подхвате – кто механизатор, кто полевод. Весной и осенью у них еще есть кой-какой навар, но большую часть года они зарабатывают вдвое меньше уборщицы. Женщины – те вовсе без работы. Не сядет же она на трактор! К тому же на нем сидит ее муж. А в каждой семье детей самое малое – пять, а то и все десять. Легко ли прокормить такую ораву? Вот и спасаются кто как может. Слава Богу, старики выручают: кто коровенку держит, кто лошадь, кто десяток овец. А в семьях, где нет стариков?

– Предположим, я соглашусь с вашей критикой. Да, будь у нас комплексное хозяйство, всё было бы иначе. Но... я зависим от Москвы, а ей нужен лишь оленеводческий совхоз. Всё остальное она не видит и на всё остальное ни копейки денег не дает.

– А своя голова у тебя есть? Или ее тебе тоже из Москвы спустили – по разнарядке? Так вот сообрази: народ твой издревле кормило джайляу. Василий Иванович только что перечислил с десятка угодий, и все они, заметь, тобой не задействованы. Их вытаптывает скотина из соседнего района. Пастбища оленей навозом загажены, их вдоль и поперек утюжат трактора, автомобили. Ты сам сказал: тебе нужны нетронутые выпаса – от них зависит качество рогов. А какое

может быть качество, если у тебя и зимой и летом – всё одним светом: зимой тебеневка¹, и летом травы ничуть не лучше, а весь июль твоих оленей поедом мухи едят. Непонятно еще, как эти бедняги приплод дают! Ты не хуже меня знаешь, что в естественных условиях выпасом оленей служат альпийские луга. Неужто трудно дотянуться до этих лугов? Огороди изгородью территорию всех шести отделений и сделай зверю выход к «Альпам». Приплод получи внизу, а как молодняк встанет на ноги, по коридору отправь его на джайляу. И скотине рай, и душе покой. Да и рога будут как карагачи. Или ты распоряжения из Москвы ждешь?

– Я думаю, в Москве всё это знают.

– Тем более. Ведь у тебя и для быков, и для яловых телок, и для стельных, и для молодняка всего три загона, да и те к середине лета теряют травостой. Тут бы тебе оленей на джайляу перегнать, а ты их так и держишь на голодном пайке. Если в Москве знают об этом, так береби Москву, требуй, чтоб тебе помогли. У меня такое впечатление, что даже станок для срезания рогов находится в велехии Москвы и без ее разрешения ты не смеешь к нему подступиться.

– Ну, это уж слишком!

– Да? Тогда кто мешает тебе поставить лебедку, чтоб можно было, не ломая ребра быкам, и без того истощенным, измученным, подводить их к станку без насилия и без усилия? И скажи мне, почему ты заставляешь парней с утра до вечера бегать между казаном, баней и навесом вместо того, чтобы поставить самый примитивный конвейер?

– Легко сказка сказывается, да трудно дело делается.

– Еще бы! Ты, чтобы железную сетку навесить, калымщикам платишь по пять рублей. И сетка эта у тебя висит пять дней, не больше. А если б ты заплатил не калымщику, а своему рабочему, плотнику, сетка у тебя висела бы все пять лет. Всё же свой человек на совесть постарается, а сделает спустя рукава, так ты его заставишь переделать!.. Где логика? Калымщику ты готов крупный куш отвалить за явную халтуру, а своему рабочему тебе копейку жалко заплатить. Вот он и бежит от тебя – причем бежит в поисках заработка, а не потому что лодырь или боится черной работы. Ты смотри, что получается? У тебя, куда ни глянь, везде огрехи да прорехи. Лошади у тебя вроде есть, но они у тебя доятся как козы. Молока-то нет! Это ли не бедность? Что там говорить – нищета, да и только!

– Вам легко рассуждать! Лесхозу нынче план не спускают, госпоставками вас не душат, вы сами, слава Богу, знаете, куда и сколько сдать продукции. У вас и мясо, и молоко, и мед... И в специалистах нет нужды. А мне до зарезу нужны зоотехник, ветеринар, садовод. Чтоб залатать свои огрехи и прорехи, чтоб у меня тоже были надои и привесы. Но – шалишь! Никто мне ничего не дает. Живу вприглядку.

– Хлопот ты лишних боишься, вот что! У тебя на рогах оленых свет клином сошелся. А на одних рогах ты далеко не уедешь и достатка не наживешь. Ты посмотри, во что превратилась твоя пантоварка? У тебя в одно корыто лезут и большие, и здоровые. Так не лечат – так калечат.

– По-моему, нам ничего не стоит прикрыть это дело.

– Вот-вот. Ты и прикроешь, ума хватит. А надо не прикрывать – налаживать надо как следует. Неужто ты думаешь, что Василий Иванович приезжает каждый год из Ленинграда только для того, чтобы пожать тебе руку и справиться о твоём здоровье?.. Понимаю, в совхозной больнице всего десять коек, самим не хватит. Но я строю коттеджи, и мы с тобой могли бы договориться в райздраве, чтобы

пару коттеджей выделить под лечебницу. Туда и поместили бы приезжих. Да и столовую для них можно открыть, чтобы они не трепали нам нервы своими костюмами, на которых готовят еду. А от тебя всего-навсего требовалось бы, чтобы ты регулярно подвозил в цистернах свой целебный бульон к лечебнице. И люди принимали бы ванны не как попало, а под наблюдением врачей. Дело я говорю или нет?

– Всё это мечты! Вы не учитываете, что пантоварка работает два месяца в году. Выходит, остальное время лечебница будет пустовать?

– Это опять же от нас зависит. Ты вспомни, как ты хвастался в прошлом году, что принимал в столице хвойные ванны, что они, дескать, мертвого на ноги поставят. Вспомнил? Так вот, если остальные десять месяцев ты сам будешь в хвое купаться и купать в ней других, тебя осудят за это? А сколько лекарственных растений на Алтае! Маралий корень, облепиха, корень золотой... Целая лесная аптека, здесь есть всё, кроме, разве что, женьшеня. Василий Иванович, скажите, я не прав?

– Вы не правы лишь в одном: женьшень можно и на Алтае найти. Или выращивать его в питомнике.

С Жамилей в дом вошла женщина. Она несла чайник, тазик и полотенце. Была она голубоглаза и рыжеволоса. Густая прядь волос ниспадала на лоб и походила на шелковистое и нежное крыло филина. Глядя на нее, Сигат вспомнил забавы и волнения давно минувших лет. Она была, пожалуй, чересчур полна, а в остальном поразительно была схожа со своей матерью. И как бы пристально ни всматривался в нее Сигат, он не находил в ней никакого сходства с хрымым егерем. Скуластое лицо, каким оно бывает у казашек, разрез глаз тоже вполне азиатский, открытый чистый лоб – всё было тревожаще притягательным, и даже эта чрезмерная полнота ее казалась извинительной и очень даже симпатичной. Вид сразу двух отяжелевших женщин, готовых со дня на день стать матерями, настроивал на сентиментальный лад, и душа Сигата как бы оттаяла, в ней затеплились огонечки жалости, нежности и прочих чувств, таких же беспомощных и очень нужных, не позволяющих душе ожесточиться и очерстветь. Жамиля попросила его, чтобы он благословил очередное блюдо, как оно и положено у казахов, и он сказал несколько слов, приличествующих случаю, а затем достал из кармана пачку денег, что он выиграл только что в карты и, не считая, отдал их Лесе и Жамиле.

– Нет-нет, – Жамиля как от гремучей змеи отстранилась от пачки денег. – Я угощаю не за плату.

– А я и не плачу за угощение, – сказал Сигат. – Это всего лишь мелочь на карманные расходы, что Абеке тратит разве что на водку, а Кабеке в кабаке оставляет.

– Раз дают – бери! – заерзал Мишель. – Уважь гостя.

– А мы его попросим и отобедать у нас, – сказал Кабылхан, и голос его был заискивающим и завистливым одновременно.

Леся долго смотрела своими невообразимо голубыми глазами на Сигата. В тот миг она вспомнила свое давнее детство: долина Бухтармы, разлив трав и одинокий дом в том травяном разливе. Лицо Сигата туманилось улыбкой, и словно бы не было прожитых лет, словно бы перед ней сидел тот давний директор лесхоза, щеголь и сердцеед. Когда бы он ни приезжал в их дом, он первым делом вручал гостинцы детям, а уезжая, лез в карманы и, если там не находилось конфет, орешков или еще чего-нибудь вкусного, он вручал ребятишкам по рублю. Ах, как он

напоминал того щеголеватого красавца-директора, разве что усы и волосы поседел, и всё казалось ей, что вот сейчас он, как в детстве, бывало, притянет ее к себе, ласковой ладонью погладит по голове и губами прикоснется ко лбу, щекоча лоб усами. Бывало, он не приезжал подолгу, и дни для всех наполнялись томительным ожиданием. Так ждут хозяина дома, отца и мужа, и даже сам хромой егерь и его законная супруга поминутно выглядывали на дорогу, недоумевая: чего же он так долго не едет? Среди шести своих сестер она, пожалуй, одна могла кинуться ему на шею и липла как липучка, мать всё одергивала ее и пыталась оттащить от гостя, а он лишь добродушно посмеивался: «Наверно, чувствует родственную душу. А что? Она мне как дочь. А может, вправду дочь?» Ну, дочь она или не дочь, а только с младенчества она души не чаяла в Сигате и любила его как отца родного. И бывало, так прилипнет к нему, что и уснет у него на руках... Потом он исчез на долгие годы, но та детская тоска по нему была неистребима и поселилась в душе ее на всю оставшуюся жизнь. Она и сейчас, не в силах бороться с волнением, отвернулась в сторонку и смахнула слезу.

Абдижапар тоже не мог сдержать слез, глядя на Лесю и Жамилю. Ему вот именно до слез было жаль своих денег, задарма доставшихся брюхатым бабенкам. А этот старый оборотень мало того что прилюдно обчистил мои карманы, еще издевается надо мной, соря моими же деньгами, причем действует с дальним прицелом, набирая вес в глазах окружающих даже таким сумасбродным поступком, как шальное, ни к селу ни к городу, денежное подношение. Впрочем, действует он не только с дальним прицелом, но и с ближним расчетом: как-никак, а он с лихвой оплатил этот дастархан и цену оленя, за которого Мишель уже внес денежки в совхозную кассу. Выходит, это моими деньгами он расплатился?.. Абдижапар был безутешен. Казалось, ему в висок вбивают мелкие гвоздочки, вбивают по самую шляпку. То были просто мстительные мысли о том, что Сигат виновен во всех его бедах, он и карьере ему сломал, сместив с очень даже приличного места, лишив почета и заслуженного уважения. Да разве мог я подумать, что когда-нибудь буду лежать на старой облезлой шкуре, о которую и ноги вытирать противно, лежать у грязного очага в доме человека, который мизинца моего не стоит, держа в руках позорное ребро, каким и собака побрезгует? Его распирала ненависть к Сигату, она была тем сильнее, что он никак не мог ее высказать вслух. А молоточек бил и бил ему в висок. И когда подали густой чай, а вместе с чаем тайменя в сметане, он нарочито громко возмутился:

– Это ж сколько можно есть! Пора бы и честь знать.

Но и тут попал впросак, недоучтя соображений Сигата:

– Едим не всласть, а в смак, – и Сигат многозначительно глянул на Жамилю. – Тут дядя ваш невзначай проглотил жирное ребрышко. Как бы чего не случилось! Подлечить бы надо беднягу. А то, неровен час, сыграет в ящик дядя. В рай он всё одно не попадет, но нам-то зачем грех на душу брать.

Жамиля посмотрела на Мишеля, и тот, что-то смекнув, тут же выскользнул из-за стола. Таймень изнывал в сметане, чай был божественно вкусен, и воцарилось ожидание чего-то необычного важного, что увенчает дастархан. Вместо этого вошел обескураженный Мишель.

– Серэ-ата... – он мялся, не решаясь что-то сказать.

– Нет-нет! Ни под каким видом! – вдруг заявил решительный протест Сигат.

– Но вы только что сами...

– Я? Да чтобы я пустил за дастархан этих бесноватых? Никогда! Они придут, покой отнимут, всех меж собой перессорят. Мы завтра в глаза друг другу не сможем смотреть.

– За что же такая немилость к пришельцам? – встревожился Василий Иванович. – За дастарханом места хватит всем. По-моему, у дверей неприлично держать даже случайного гостя.

– Я умываю руки, – сказал Сигат Мишелю. – Так и быть, давай их сюда. Но... все режущие и колющие предметы прошу держать от них подальше, не то жди беды.

Господи, да кто же это мог быть там? За дастарханом потеснились, высвободив место для тех, кто сейчас явится. А явился Мишель, и явился вправду не один, а с подносом, который ломился от бутылок со всевозможными горячительными напитками, что вызвало смех, оживление, безобидные подкалывания и подначки.

– Да-а, делать нечего: с такими пришельцами придется знакомиться ближе!

– Еще бы! Без тесного контакта не обойтись.

Тут и злобствующий Абеке размяк, оживился:

– Ну-у, ради таких гостей я готов пожертвовать своим здоровьем.

Все обрели как бы второе дыхание, той разгорелся с новой силой, и с неизбежностью настала минута, когда Асеке взял в руки домбру. Наступило молчание, ночь запела голосом домбры, кого-то чаруя звуками своими, а кого-то попросту усыпляя. Асеке сыграл несколько кюев. Василий Иванович был очень тронут мастерством күйши.

– Мы суетимся, спешим, а в жизни есть одна загадка бытия, и лежит она между рождением человека и его смертью, – сказал он, лаская взглядом кузовок домбры. – Но сейчас это мало кого занимает. Я как-то по молодости лет услышал свирель. Божественная музыка! Еще бы хоть разок послушать. Но – нет уж тех мастеров. Да и все измельчали, погрязли в хлопотах о тряпках и еде. Нам некогда думать о вечном.

Упрек Василия Ивановича остался без ответа. У одних не было слуха, чтобы взять в руки свирель, у других он был, но не было характера, а без него в руки свирель не берут, ибо игра на ней сродни беседе с Богом. Ночь сразу осиротела.

– Я всё же поброжу по окрестностям. Свирель, конечно, не услышу, но, может, повезет – удастся мне послушать плач кияка.

– Зачем вам искать кияк! – оживился Мишель. – Вы потихоньку постелите постель под окном Асеке и ночью услышите күй из кюев.

– Ты-то, поди, слушал не раз. Вот и сыграй нам. Или кишка тонка? – Абдижапар не мог не сказать кому-нибудь пакость.

– Э-э, нет. Песню я портить не буду, – ответил Мишель вполне искренне. – А вот мечта у меня есть. Даст Бог, однажды получу в подарок одну из семи домбр. Чтобы душа песни жила в моем доме.

– Ты глянь на него, глянь: какие речи говорит! – прыснул Кабылхан, и живот его заколыхался как у женщины на сносях, которая вот-вот родит.

Пора бы, конечно, и честь знать, но Кабылхан сказать об этом не решился, молодежь не могла идти против обычая – хоть лопни, а не смей вставать от дастархана, пока не подана команда старшими. Ну, Абеке – тот готов был сидеть здесь веки вечные, ему бы только выпить да закусить на халяву.

Разговор опять вернулся в старое русло, теперь заговорили о природе – о том, что земля скудеет, небо выцветает. Мишель, дитя природы, был уверен, что

он здесь, в тайге, в этой горной выси, как у Бога за пазухой, но когда Василий Иванович сказал, что «вы тут сидите, задыхаясь от свинцовой пыли в дыму трех городов», он как бы ощутил удушье, стал расстегивать ворот рубашки. Он – да и не только он! – впервые услышал о том, что и вода, и воздух, и пища отравлены химией и еще невесть чем. А чтоб наглядно всё это было, Василий Иванович попросил снова достать самовар, который давно опустел и был подвешен Жамилей на столб для просушки. Василий Иванович долго всматривался внутрь самовара.

– Уж очень аккуратная хозяйка, – подвел он итог. – Самовар и внутри блестит как зеркало.

Не совсем понимая, что к чему, и думая, что восхищение гостя нарочито, Мишель заерзал. Да и все остальные, мало что понимая, смотрели в рот высокому гостю.

– Я весь Казахстан объездил, – сказал тот после паузы. – И где бы я ни бывал, стоило мне заглянуть в самовар и чайник, там была накипь в пять слоев. Обычно в литре воды хотя бы один процент соли. А у вас в Казахстане втрое больше. Это в среднем. В южных областях много выше. Вы вот смеялись над дедом Осипом, что он никак не может заарканить тайменя. А вам не приходило в голову: как он, этот таймень, вообще выживает в такой воде? Это же не вода: это либо кислота, либо голимая щелочь. А Бухтарминское море, которым собирались напоить Восточный Казахстан, давно уже не водохранилище, а гигантский отстойник щелочи. И вы не одиноки в своей беде. Такие же отстойники есть на Иртыше, Сырдарье, Урале, Волге. Да и в Семиречье на всех его семи реках. Всё это не годится для питья не только человеку, но и скоту, и для полива такая вода губительна, потому как превращает богатую почву в скудные солончаки. И что в результате? Сахарная свекла Жетысу лишилась сахара, дыни Сырдарьи лишились сладости, исчезли ценные рыбы в Или, пропал Арал, мелеет Балхаш. Мы всем прожужжали уши великой стройкой коммунизма – Главным Туркменским каналом. А из-за него исчезли два древнейших оазиса, зеленевшие еще со времен Македонского. Там ежегодно собирали четыреста тысяч тонн хлопка. А что теперь? Кукиш в кармане. И накипь в самоваре от того кукиша.

– То-то она его чистит содой, – Мишель заглянул в самовар, как бы впервые увидев, что там внутри. – Господи! Если воздух – свинец, вода – щелочь, то мы в конце концов опустимся на четвереньки, станем жрать траву.

– Не дай-то Бог! – хохотнул Абдижапар. – Тогда вся скотина передохнет с голоду.

– И передохнет! – неожиданно поддержал его Василий Иванович. – Трава тоже отравлена, особенно вдоль железных дорог и автотрасс. Косить там траву нельзя, скот пасти тоже. Не оттого ли исчез вкус у молока, у мяса. Мало того, порой вдоль дорог собирают лекарственные травы, сдают их в аптеку, а это же голимый яд. Мы только что говорили, что алтайские растения лечат семьдесят, а может, и все семь тысяч болезней. Вы сами даже не подозреваете, среди каких сокровищ живете, – он начал, что называется, «за упокой», но незаметно стал говорить «за здравие». – То, что оленеводческий совхоз, лесхоз, заказник и охотничье хозяйство находятся в одном месте, редкое везение. Вы можете во всем идти рука об руку. Когда пятнадцать лет назад я прочел вашу, Саке, диссертацию, я был рад, что тайга наконец обретает хозяина. Уж я-то говорю об этом с полным знанием дела, потому как сам начинал здесь в тридцать втором и бился как рыба об лед,

чтобы хозяйство это было прибыльным. Я понимаю, сколько мук вы претерпели, но то, что один лишь питомник у вас дает полтора миллиона чистой прибыли, это достижение, о котором можно лишь мечтать. Вы в Союзе занимаете первое место по выращиванию саженцев лиственницы и кедра. Причем саженцы эти во всей Европе мечтают достать и не могут. Но... вроде далеко Алтай свои семена сеет, да не богатеет при этом, а беднеет.

Он долго еще говорил, а его из вежливости никто не останавливал, хотя говорил он прописные истины. Что всему виной сплошная вырубка леса, начавшаяся тридцать лет назад, ее никак не удастся прекратить. Что из семи притоков Бухтармы три высохли, а ресурсы оставшихся четырех уменьшились вдвое. Что если не поставить заслон такому вредительству, то старинная легенда о Беловодье так и останется легендой, но никому от этого ни холодно, ни жарко. Он говорил про судьбу Арала, Балхаша. Сигат слушал его и удивлялся: красиво ты говоришь, Василий Иванович, да только твое красноречие больше пришлось бы впору не здесь, а в Госплане, в Совмине, куда не заказаны тебе пути. Что ж ты молчал все эти годы, умная головушка? И не один ты: сколько вас, умных голов, в десятках, даже сотнях институтов?..

Задумавшись, он на какой-то миг потерял нить разговора и уловил лишь вопросительные интонации в голосе Василия Ивановича, а потому уклончиво ответил:

– Забота о земле и есть забота о людях, но... – он замялся. Какой смысл во всех этих разговорах? Однако мысль продолжил: – Главное, нельзя сейчас допустить, чтобы судьбу тайги решали временщики. Калымщики. Случайные заезжие люди. Кто живет на земле, тот и должен быть за нее в ответе. Понимаете? Вот им решать ее судьбу. По-моему, это и есть государственный подход к делу. А разговоры наши... Вот мы кричим уже лет тридцать о бедах тайги, а толку что? За четверть века мы посадили деревья на двух-трех тысячах гектаров. Деревья эти выросли не выше человеческого роста. Им еще расти да расти. А мы за эти же четверть века вырубил лес – ну, если взять округность, то радиусом будет километров двести. Выщипали все хвоинки. А выщипав, объявили эту пустошь заказником. Ну не издевательство ли это?

– Но всё же объявили!

– А зачем? Чтобы прикрыть собственную подлость? Оно и в самом деле всё очень логично: теперь, когда ободрали эту землю как липку, когда с нее уже ничего – понимаете: ни-че-го! – нельзя взять, ее в самый раз осталось объявить заказником, в котором два лесхоза с тремястами наемных душ и с техникой, которой лет сорок уже как место на мусорной свалке. При этом помощи – ну ниоткуда, никакой!.. А кочевые леспромхозы страшнее таежных волков. Раньше, бывало, вырубят лес, так хоть для близира посадят саженцы, а теперь те, что мы посадили, вытаптывают.

– И вы молчите? Об этом нужно было в набат..

– Но ведь не головой же об рельс! Мы и так устали от шума и грохота. Вот вы упомянули здесь питомник. Да, он дает доход в полтора миллиона, но это – капля в море. Нам не один лесхоз, а всю тайгу надо приводить в порядок. Здесь бы подключиться Лесной Академии. А что? Питомник я готов отдать вам под производственную лабораторию. Головы ваши, руки наши. Да мы бы с вами горы свернули!.. Но что-то не спешит нам навстречу ваша академия. Все смотрят в сторону Госплана, Минфина и прочих министерств. А те способны лишь выдать

на-гора очередную бумагу: постановление, циркуляр, рекомендацию... Сколько леса угрохали на эти ненужные бумаги! Нам не много надо: освободите нас от бюрократических пут, дайте нам самостоятельность. Мы хотим быть хозяевами на земле, а не исполнителями чьей-то воли – чаще всего дурной и вредной... Даст Бог, на следующий год мы поместим вас в новую гостиницу и выкупаем в лечебных ваннах. Но всё это, Василий Иванович, домашние радости, ими не обманешь ни тайгу, ни народ...

И разговор внезапно иссяк. Так ветер, бывает, ночами дует из ущелья час, другой, третий, и вдруг внезапно затихает. И становится ясно, что ночь уже прошла, рассвет занимается, месяц блекнет, и вершины холмов наливаются светом. С обратной стороны Жандысая закричала косуля, прервав глубокий сон тайги. Очнувшись, вновь захлопотала Бухтарма. В рассветных сумерках бледные лица гостей уважаемого Мешеке пригорюнились у дастархана. Пора бы и на боковую.

– Сейчас в самый раз таймень дерется на крючок, – мечтательно сказал дед Осип и от души, по-лошадиному, зевнул.

Застолье так и грохнуло от смеха. И уже не имело значения, почему, отчего смеются люди. Главное, смех невозможно унять, и людям хорошо друг подле друга.

А в пересохшем алтайском небе, в его гнилом углу, неслышно заворчалась маленькая тучка.

Глава четвертая

1

Неделю целую во рту у него не было ни крошки, разве что хлебнет глоток-другой чая, да и то – без молока. То ли с голодухи, то ли от этой немой тины в ушах шумело, кружилась голова. А стол ломился от закусок, но он не прикасался к ним. В душе была ноющая пустота, еда вызывала отвращение. В печи всю ночь сверчал сверчок, он и сейчас сверлит тишину, и нечем его шугануть: ботинки, что стояли у кровати, Калынхан еще ночью один за другим запустил в направлении ненавистного звука. Сверчок приумолк на минуту и, как ни в чем не бывало, вновь застрекотал. Калынхан лежал один в большой горнице, двери всех четырех комнат были открыты настежь, но это лишь подчеркивало одиночество и пугающую пустоту большого дома. Пустота затаилась по углам и, казалось, стережет каждое движение Калынхана.

Порой он прислушивался к тишине, царившей в комнате отца. Чудилось, там скрипят половицы, кто-то ходит, вздыхает, кричит. «Господи! Ведь завтра семь дней, как умер старик».

Он вскочил. «Кошмар!.. Как я мог забыть об этом? Не успел отец уйти из жизни, а я становлюсь уже преступно невнимателен к памяти о нем...» Ему хотелось обвинить себя – неважно в чем, но обвинить, чтобы хоть так облегчить тревогу и боль. Хотя старика он проводил в последний путь с почетом, но всё одно – покоя не было.

Сначала он пнул угол печи, адресовав пинок проклятому сверчку. Потом зажег лампу. Винить себя было не в чем: стол накрыт с утра, и если кто придет помянуть старика, прочитать молитву, к поминовению всё готово. Еда была нетронутой. Значит, никто не приходил. Старик, будучи живым, не очень-то гостей привечал, кто ж станет его привечать после смерти.

«Нет, ну похороны были достойными, старик на меня не может быть в обиде». Ему надо было еще раз сказать это самому себе, чтобы себя успокоить. А то, что никто не пришел помянуть на седмицу, так виновато в том время: видать, вывелись родственники – одни родственнички остались.

О смерти старика жалеть, наверное, было грешно: отец был очень стар. Но ведь никто его смерти не звал. И не ждал. Казалось, старик обречен жить вечно. Ну не укладывалось в голове, что он когда-нибудь умрет. Калынхан свыкся с его ежедневными попреками, язвительность отца стала необходимостью сыновней души и словно защищала его от невзгод и добавляла беззаботности сердцу. «А я чуть не забыл про семь дней!» Но почему никто не пришел, что случилось с людьми? Ладно, помер старик, но я-то остался в живых, хотя бы из уважения ко мне пришли. Значит, и я не достоин. Что ж, будем знать свое место...

А ведь старик за месяц вперед дал мне знак: всё просил – вызови, мол, внука. Пусть, мол, придет горсть земли кинуть на могилу деда. А я лишь отмахнулся: перестань, дескать, чепуху городить. Ведь не болен, и в детство не впал, чего бы это помирать ни с того ни с сего? И Калынхан сам себя упрекнул: людей коришь, что позабыли, а твой сын родной – и то не приехал...

Старик в тот день до рассвета заставил седлать коня. То есть он до рассвета баню велел истопить, одежду чистую найти. Старик был привередой, сам себя обихаживал, лишний раз к себе не подпускал никого. И когда сын предложил ему потереть спину, старик заартачился: с чего бы это моя немытая спина глаза тебе мозолит, сам за собой проследи. А после омовения торжественно сел и принялся давать распоряжения.

Сперва позаботился об умерших:

– Скоро сорок дней, как помер Битимбай. Не забудь.
– Не забуду.
– Пусть суры Корана прочтут. Стоит это двадцать рублей. И барашка пожертвуй.

– Ладно.

– Бытырбаю скоро годовщина.

– Знаю.

– У него никого не осталось, кроме вдовы. А что она может? Поставь ему памятник.

– Ладно.

– Дом Усекбая заваливается. Кто-то окна и двери забил.

– Знаю.

– А ты подними этот дом. Посади во дворе пяток сосен. Или берез. Пусть будет память пятерым сыновьям, не вернувшимся с фронта.

– Кому он нужен, этот дом! Кто в него сунется?

– Наверно, бояться дурной приметы. Мол, в доме все вымерли. Пусть это тебя не касается. У казахов на дурные приметы память крепка, а про хорошие забывают. Дом этот несет в себе добрую память. Усенбай в свое время жил в нем с десятью братьями.

– Ладно.

– Ночью ко мне отец покойный приходил. Собирайся, говорит, пора. Он придет за мной к вечернему намазу.

– Ладно.

– Вот-вот. И то, что я помру, тебе тоже «ладно». Хотя, конечно, ладно, – и он вздохнул. – Я уж сколько Бога прошу, чтобы прибрал меня. Но Бог не слышит. Вот я и взмолился духу отца. Тот внял моей мольбе.

– Может, хватит? Для живых там у тебя наказов нет?

– О живых пусть живые заботятся. Хотя... ходила тут капля от мошонки Есимхана. Как зовут его?

– Бекет.

– Боже мой! Это еще что за имя такое? Если от Бека, то в роду Есимхана аристократов вроде не было. Может, от слова «пикет»? Это уже лошадиное что-то, а от Есимхана не то что люди – лошади шарахались...

– Сам помирать собрался, а цепляется к чьему-то имени. Бекет тебе зачем?

– А вот зачем. Если тебя не затруднит, то попроси у него прощения. Я, было дело, поколотил его отца. Хорошую дал взбучку! А так вроде бы никого не обидел.

– Ладно. Если все это правда...

– Правда. Уж ты мне поверь.

– Тогда скажи, кем придется мне сын старухи Маржан? Тебе всё одно ответ держать перед Богом. Может, и мне шепнешь напоследок?

– Отстань!

– Ладно.

– Не лезь в чужую жизнь. У него другая фамилия, свой очаг, своя судьба. Найдет нужным, придет горсть земли кинуть. Не придет, его дело. Я перед ним не в долгу, он мне тоже ничем не обязан. Мы рассчитались в свое время.

– Ладно.

– Ты семье своей сообщи. Чтобы после не было обиды. Приедут – значит тебя уважают и помнят. Не приедут – Бог им судья.

– Ладно.

– Тебя оставлю на попечение Аллаха.

– Ладно.

– На счет женитьбы сам решай. Но... в таком возрасте вряд ли с кем уживешься. Не покидай отчий дом.

– Ладно.

– И не проси у Бога моих лет. Лучше уйти из жизни чуть раньше.

– Ладно.

Такая вот с утра была беседа. Потом весь день работы было невпроворот, и он ни разу не подумал об отце. Не было в душе тревоги. Тянулась бесконечная вереница пассажиров в аэропорту, да все на одно лицо. Как старый хлам, ей-богу, ну хоть бы кто-нибудь запомнился! День прошел словно в изоляторе – ни событий, ни мыслей, ни чувств. Когда вечером он вернулся домой, первое, что его встретило, был запах бензина. У мусорной кучи дотлевал ворошок пепла, из которого проглядывал недогоревший рукав бешмета и край одеяла из верблюжьей шерсти. То был бешмет отца и его же, отца, одеяло. Будто готовясь к чьей-то тризне, старик срезал волосы с хвоста и гривы гнедой кобылы. Дальше – больше: во двор сына вынесена отцовская кровать, огромная перевязанная махина метров на пять длиной: «Никак в детство впал дед!..»

В доме стояла мертвая тишина. На низеньком столе – пиала, на дне ее глоток воды. Рядом – тетрадный листок и остро отточенный карандаш. На листе арабской вязью начертан список девяти старух, вдов аула. Против каждого имени про-

ставлена сумма – «сто рублей», сами деньги рядом – завязаны в девять тряпочек. «Тах-тух, тах-тух... дын!» – семь раз пробили стенные часы. Казалось, они ударили по голове, по маковке. «Отец придет за мной к вечернему намазу», – вдруг вспомнились слова старика, которым Калынхан не придал значения. Он резко потянул к себе дверную ручку.

Белые шелковые занавески, с незапамятных времен лежавшие в синем кованом сундуке, были повешены у правой стены. Открывшаяся дверь всколыхнула воздух, и занавески выгнулись как паруса. На паласе, подстелив белую ткань, лежал старик. Даже подушки не было под головой. И накрыт он был тоже белой тканью. Усы и борода были белы, как только что выпавший снег. Глаза плотно сомкнуты, на бледном лице выражение покоя и отрешенности. Может, он спит? И занавески всколыхнул не сквознячок, а рука старика их одернула, чтоб висели прямее?.. Рука его была холодна как лед, и весь он был неподвижен и холоден. Слева от себя старик аккуратно сложил свою совершенно новую одежду. И в той его последней аккуратности была такая безнадежная горечь, что Калынхан прикусил палец, чтоб сделать больно, чтоб одолеть другую нестерпимую боль.

«Тах-тух, тах-тух... дын!» – стенные часы пополуночи, а ему-то казалось, что прошла уже целая вечность... Подумать только, не оставил после себя никакого старья, всё сжег... Только теперь он осознал, что место, которое старик умел собой заполнить от прихожей до переднего угла, опустело, и в доме поселился дух сиротства. Ему не хватало голоса старика, его скупых, но едких слов, язвительного молчания. Слова старика, как нож перочинный, состругивали сучки и задоринки в характере сына, придерживали сыновью дурь в узде. И еще он сожалел, что не всё успел выпытать у старика – о жизни и о людях, которых знал... Место старика за столом мозолило глаза зияющей пустотой. Здесь всегда лежал тулуп из поярковых шкурок. Нет тулупа. И необъятной медвежьей шкуры тоже нет. Не захотел старик оставлять после себя этот хлам, сжег и тулуп, и шкуру. А его новую одежду – всю, до рубахи преисподней – старики разобрали, поделили между собой.

Старика за столом нет и не будет. И лишь старуха смотрит теперь со стены, она в высоченном тюрбане, который подчеркивает ее дородность и мощь. Поторопилась она уйти на тот свет, четверть века назад померла, наказав старику, чтобы он не очень спешил за ней следом. Ну что, заждалась его, видно? Теперь вы там вместе... Фотографироваться Жаке не любил, и от него остался всего-навсего маленький снимок на паспорт со срезанным белым углом, куда печать положено ставить. «Я не вмещусь в глазок этой шелкалки», – говорил он и отказывался садиться перед фотоаппаратом... Молчание было нестерпимым, и Калынхан решил поговорить с дородной старухой, что смотрела на него со стены.

– Как дела, Балашка? Рада, что встретила своего старика?

– Я-то ладно. Мне ты не нравишься. Сидишь который день один, того и гляди волком взвоешь.

В уголках ее глаз таилась усмешка. Он не без труда вспомнил голос матери, исчезнувшей из подлунного мира четверть века назад.

– Что же ты опростоволосился так? Даже при смерти отца не смог быть рядом с ним. Дались тебе эти самолеты! В небе, кроме Аллаха, нет никого. На земле другое дело: и радостей, и горюшка невпроворот.

– Ты меня, Балашка, не ругай. Ты лучше посоветуй: как мне теперь быть?

– А это тебе виднее. Ты мой последненький. Мне было пятьдесят два года, когда я тебя родила. А тебе уж сколько? Видишь, сорок девять. Что же ты, до пятидесяти лет у меня совета спрашивать будешь? Хотя ты прибавил себе пару годков, чтоб вступить в комсомол. А толку что? Ну, проживешь ты на два года меньше, чем твой отец.

– Ты эти шуточки брось! Мне что – еще шестьдесят семь лет жить? Не-ет, не согласен.

– Нет-нет: не шестьдесят семь, а шестьдесят девять! И не возражай. Тебе еще жить да жить. Одиночество не надоело? Дети твои – два отрезанных ломтика, они тебе чужие. Смотри, останешься один на белом свете – без жены, без детей.

– А старик мне сказал: не женись.

– Этот старик привык все мерить на свой аршин. Один ты успеешь намыкаться, горя хлебнуть.

– «Намыкаться», «горя хлебнуть»... Чем так маяться, может, к вам поспешить?

– Не говори так, верблюжонок мой. В жизни человека должны быть и радость, и горе. И чашу эту надо испить сполна, не уклоняясь. Лишь тогда жизнь наполнится смыслом.

Это материнское, давно забытое «верблюжонок мой» наполнило душу сорока-девятилетнего человека теплом, и горечью, и светом. Обычно по утрам аккуратней любого будильника его поднимал отец. Теперь, когда отца не стало, каждый день, без четверти шесть, ему слышался голос матери, он звучал с ласковой усмешкой как в далеком детстве: «Верблюжонок мой, пора вставать. Аул откочевал. Смотри, один останешься». Он не хотел просыпаться, сон валил с ног, но она тянула его за ноги с постели еще затемно, и он, оступаясь спросонья, шел отвязывать козлят с ягнятами и привязать заодно жеребенка. Он шел босиком, летом окуная ноги в росистые травы, а осенью холодея ступни ног знобким инеем. Калынхан не обижался на мать. Трое старших братьев сладко спали, но платой ему за раннее пробуждение была пиала парного молока да еще кусочек сахара, он прятал его в карман и уходил. Она баловала своего последыша, до семи лет кормила грудью. Бог весть, что он мог выцедить из высохших грудей почти что шестидесятилетней старухи, но факт налицо: он до сих пор тоскует по теплу ее рук, по ласковому голосу, который он не слышал двадцать пять лет и был уверен, что не услышит никогда. Но вот уже семь дней кряду минута в минуту без четверти шесть тот голос является ему сквозь сон и пробуждает ото сна. Он было встревожился, потом успокоился и даже был рад, а теперь и сам стал заговаривать с ней вслух.

– Балашка! Ты меня слышишь, Балашка?..

Мать звали Нурбике, Балашкой прозвал ее последыш. Отец Жанжигита, решив внести струю свежей крови в потомство, сосватал сыну еще не родившуюся дочь одного из знатных людей кереев. Отец был упрям, от слов своих не отступался, и Жанжигит до тридцати лет вынужден был переносить все тяготы холостяцкой жизни. Когда он отделился своим домом – отау¹, как и положено, с семью полугодовалыми ягнятами и с семью кобылами-трехлетками, Нурбике только-только исполнилось двенадцать лет. Бедная сиротка, она в чужом краю кроме Жанжигита не знала никого и просила его, умоляла: «Дядечка, агатай! Я боюсь без тебя. Не оставляй меня одну». Куда бы он ни шел, она как хвостик тащила за ним. Шел он на поминки или на пирушку, ее брал с собой. Бывало, она уснет у него

¹ Отделившаяся семья, юрта, дом молодых.

на коленях, он примостит ее к себе на спину и унесет домой. Так вот и вырастил он свою жену у себя на спине, потому поздновато и обзавелся четырьмя сыновьями. А жена Нурбике своего старика всю жизнь называла «агатай», он же звал ее «Балакай-малышка», и последыш ее Калынхан, еще в нежнейшем возрасте осваивая премудрости речи, стал звать ее на свой лад – «Балашка», ему так удобнее было. И даже когда она стала байбише, причем очень и очень дородной, как саба, вмещающая кумыс пяти кобылиц, никак не меньше, даже тогда весь аул ее звал «Балашка».

Когда уходила из жизни, со стариком прощалась накоротке, будто он ее догонит скоростным рейсом.

– Балакай! Я тебя ждал до тридцати лет. Что же ты меня так рано оставляешь? Это что – твоя благодарность за мое долготерпение? – горько пошутил старик. Он и тут оставался насмешником.

– Теперь пришла моя очередь ждать. Ты ждал меня тридцать лет, я пожду тебя два раза по тридцать.

Ну, тридцать не тридцать, а обещание она выполнила – четверть века ждала своего Агатая.

«Тах-тух, тах-тух... дын!» Пробило три часа ночи. Дородная старуха с высоким тюрбаном косо поглядывала на портрет по соседству. То был увеличенный снимок румяной молодки, прижавшей к себе двух детей. Молодку эта старуха никогда не видела, и видеть не могла. Когда старуха померла, молодке было всего двенадцать лет, училась она в одной из киевских школ, трясла бантами, прыгая через скакалку, показывая брату своему язык и никак не помышляя, что когда-то станет женой какого-то там Калынхана, к несчастью которого она, заневестившись, превратилась ну прямо в красавицу. Была она младшей сестрой его лучшего друга. Калынхан как увидел ее, так и втюрился по уши. Впрочем, сейчас и он давил на нее косяка, теперь красота ее была ему неприятна, как базарный размалеванный коврик. Да и девочка с мальчиком ей под стать, чужие они ему, под себя их сработала и воспитала Зинаида Павловна.

Когда Калынхан, чтобы не оставлять столетнего отца в одиночестве, быть с ним рядом, перешел из военной авиации на гражданку, он привез с собой молодую жену. Но выросшая в городе, она не прижилась в ауле. В Карагайлах всё было не по ней. Привыкшая к зарежимленной жизни города, она так и не сумела приноровиться к неспешным хозяйским делам большого сельского дома. Понукать ее никто не понукал, а сама она – ну не было в ней ни навыка к домашнему труду, ни любви к нему, ни пристрастия. Укорять ее Калынхан не стал, а жалеть, конечно, жалел. Да и мог ли мужчина под сорок относиться иначе к семнадцатилетней дурехе, выскочившей замуж из-под родительского крыла! Была ли там любовь или не было, но увлечение, и очень сильное, было. Впрочем, с ее стороны оно вскоре сменилось расчетом: зарплата у мужа была большая, зарплата ее устраивала. Но сидеть сторожем при столетнем свекоре она не собиралась, да и жизнь в селе ей скоро надоела. И Калынхан отпустил ее с богом, отпустил вместе с детьми – дети ей нужны были не как память о муже, а чтобы кормиться ими: алименты на двоих детей составляли как-никак треть его зарплаты. Ну а дальше – развод и полная свобода, она еще молода и хороша собой и от жизни сумеет взять всё. Что ж, вольному воля. Единственно, кого ему было жаль, так это друга задушевного, Зининого брата Павла, с ко-

торым вместе окончили училище, дошли, – вернее, долетели! – до Берлина, вернулись невредимые домой, и после были рядом, не разольешь водой, и вот пришла пора, и надо расставаться, потому как жизненные пути пошли в разные стороны. И, пожалуй что, женитьба на сестре Павла была еще одной попыткой продолжить дружбу родством...

Он даже как-то съездил в Киев, уже после развода с Зиной. Сын был в пионерском лагере, дочь – в детсаду. Зины тоже, впрочем, не оказалось в городе – была в отъезде. А приехал он, скажем прямо, не ради детей. И не ради Зины. Приехал он, чтобы повидать Павла. Дружба была сильнее и обид, и тоски по детям. Дети выказали к нему полное равнодушие. Ни о ком и ни о чем не расспрашивали, будто и не были никогда на Алтае, будто этот казах и не отец им вовсе, а так – знакомый дядя. И то, что он приехал, и то, что уедет, им всё равно. Хоть бы спросили: как там наш дедушка? Нет, не спросили, и это было обиднее всего...

Павлу было неловко за то, что сестра оказалась в отъезде.

Теща всплакнула – на радостях и с расстройства: Зина была натурщицей и в самый раз укатила со своим художником в южные края, на море. В душу Калынхана лезть не стали. Проявили деликатность. Павел, конечно, был рад, взял часть отпуска, и гульнули они от души, вспомнив молодость. Прощаясь с Калынханом, он сказал: «Вот видишь, стала натурщицей, продала свое тело. Вряд ли была бы тебе верной женой. Не забудь – нас не забывай!».

Больнее всего было то, что не прижилась его семья в большом отцовском доме. И теперь, когда умер отец, пришло полное одиночество. Может, дому этому судьбой предписано, чтобы мужики здесь жили бобылями?..

– Верблюжонок мой, вставай! Аул откочевал. Ты остался один...

Всё верно: без четверти шесть. И тут оглушительно затрезвонил телефон. Как на пожар, ей-богу! Но в трубку и в самом деле кто-то прокричал заполошным голосом:

– Пожар! Горим!..

2

Небо, всё лето бывшее пустобрюхим, будто ждало этого желтого августа, дотла засушившего все семь слоев земли, чтобы прыснуть ничтожным дождем. При этом шуму и грохоту было, будто перед ливнем. Кто-то в заоблачных высях изо всех сил колошматил небо и землю, будто палкой выколачивал пыль из старых половиков. Пакостные тучи, полосая землю молниями, обычно проносились по-над каменными вершинами гор в глуши и безлюдье, на сей раз они как назло завернули в тайгу за поближе к селеньям и пролились не дождем, а огнем. Вмиг занялась тайга по южным склонам, пламя запольхало как в гигантской печи. Огненные шквалы обрушились не только на Карагайлы, в неделю они как нечистая сила сожрали в округе одиннадцать тысяч гектаров леса.

Весь Алтай был поднят на ноги. Все, от немощных стариков до ребятишек, которые могли хоть как-то соучаствовать в жизни взрослых, были мобилизованы на тушение пожара. Семь дней, семь бессонных ночей шла непрерывная борьба с огнем. Человек бессилен перед злой стихией, хотя, конечно же, вступает с ней в схватку. Вид тайги, отбитой у пожара, был страшен, да и тушители огня выглядели страхолудно. Ядовитая гарь и горький дым перехватили дыхание, ноги подкашивались от усталости, люди были вконец измождены.

А кое-кому все это было до лампочки. Горит? Ну и гори оно ясным огнем. У леса было много нахлебников, десятки областных контор и учреждений рубку леса вели так, что треск стоял. Лес им был нужен, но до тех пор, пока не попал в беду. А как попал, никто из этих добытчиков палец о палец не ударил, чтобы защитить лес, помочь ему. А когда едкая гарь просачивалась в кабинеты чинуш, они морщились в раздражении, выражая недовольство работой тех, кто плохо тушит лес и плохо его охраняет. И невдомек им было, что люди тушат лес считай что голыми руками, вся их оснастка – багры да ведра. Была ли техника? Была, но ее хватило лишь на то, чтоб затушить сараи да клетушки, скотину в которых, впрочем, сожрал ненавистный огонь. А по страницам газет гуляла сказочная версия о том, что возгорание леса произошло от того, что солнечные лучи сфокусировались в осколках бутылочных стекол, ну а потушить его удалось искусственно вызванным дождем, что еще раз подчеркивает могущество нашей науки. Газетная утка всем продудела уши, хотя никто на Алтае и близко не видел тех ученых, которые могли бы вызвать тот самый искусственный дождь. Правда, подмога, так сказать, с неба появилась, но была она вполне земного происхождения, к большой науке никакого отношения не имевшей, вертолет сбросил две команды пожарных – одну из Архангельска, другую из Новосибирска. А потом природа, опять же никак не стыкуясь с наукой, изъявила божескую милость и обрушила на головы людей дождь, который лил неделю, не меньше, уничтожив бедствие, причиной которого, собственно говоря, тоже был дождь.

Калынхан, в течение семи дней не знавший покоя, мотался на вертолете между Карагайлы и Аксу, возя людей, бившихся с огнем не на жизнь, а на смерть, и динамит, который тоже использовали в борьбе с тем же огнем. В Куйгане он приземлился под вечер, когда прокопченное солнце клонилось к закату. Вдоль берега торчали остовы сгоревших деревьев, дотлевали дома и сараюшки Корбихи. В наступающих сумерках безлюдье было особенно зловещим. Деревня напоминала кладбище. Скелеты сараев да печные трубы на месте рухнувших домов смотрелись будто ветхие, давно заброшенные мазанки. От воя собак, которым словно бы вменили обязанность оплакивать сгоревшую деревню, леденела кровь в жилах. Бог ты мой, сколько же раз она сгорала дотла, эта бедная Корбиха, за те двести лет, что стоит у реки? Сгорала и отстраивалась заново. Чтобы снова сгореть. Вот так вот. Спускался с неба к людям, поближе к жилью, а очутился считай что среди могил, от которых надо бы бежать, сломя голову, да некуда бежать, нет дороги. И тут у него мурашки пошли по коже. Перед ним было то, что осталось от кирпичного дома: стены рухнули, жесь, которой была покрыта крыша, сплавилась, вспучилась и валялась теперь на земле как клочья обгоревшей шкуры, которую огонь нещадно изъявил и обгрыз. Там, где была когда-то спальня, на чудом уцелевшей перекладине висела люлька, ее раскачивало ветром, и от этого раздавался размеренный негромкий скрип. Ему показалось, что в люльке плачет малыш. Одолевая оторопь в руках и ногах, он подошел к люльке, и руки его уже потянулись за младенцем, но из люльки, оглушительно и суматошно хлопая крыльями, вылетела горлянка, и хрипя, будто ее душили, села на обугленный забор. А из-под забора, вытаращив на Калынхана дикие зеленые глазищи, зарычала полосатая кошка, она тащила подпаленного рябчика, делиться которым не хотела ни с кем. Вот кому тут вольготно!.. Серый бык ревел во всю глотку, и рев его жутко разносился по деревне, по этим скорбным пепелищам. Бык, как

заведенный, кружил вокруг обгорелого теленка, тот лежал, задрал ноги, оцепенев в последней смертной муке. Вой собак, хрипенье горлинки, урчание полосатой кошки, рыданье серого быка, оплакивающего погибель своей малолетней родни, – весь Куйган, казалось, рыдает и стонет в этот недобрый страшный вечер.

Калынхан опять обошел вокруг сгоревшего дома, будто искал какую-то потерянную вещь. Но глазу не за что было зацепиться. То ли это был заброшенный дом, то ли жильцы его перекочевали отсюда еще в канун пожара. Скрипевшая на железной перекладине люлька уж и сама не помнит, когда баюкала ребенка. А в доме этом когда-то было жилое тепло, и обитал в нем лысый паромщик. Калынхан, сколько ни напрягал память, не мог вспомнить лицо вредного старикашки. Легче было столб телеграфный разжалобить, чем паромщика уговорить спуститься к переправе. А вот проклятый полосатый бык, утащивший одежду, как живой встал перед глазами, и Калынхан невольно улыбнулся. Вспомнилась девушка, ее смех потаенный, грустинка в глазах. «Ты походи в моих трусах, походи. Я одолжу их тебе. Долг невелик. Когда-нибудь вернешь...» Она в таких же сумерках приблизилась тогда к нему и набросила ему на плечи пуховую шаль, мягкую и теплую, и в этой мягкости и в том тепле были нежность и ласковость ее девичьих рук. «Родненькая, жив буду, не забуду твоей доброты. Должник я твой, в долгу неоплатном...» – шептал он тогда, тоже в сумерках, прощаясь с той памятной извилиной дороги вдоль реки, прощаясь с девичьей фигуркой, что таяла в сумерках и растворялась в них навсегда. Он так и остался в долгу неоплатном перед ней. И глядя сейчас на лопочущую речку, на неугомонное течение Куйгана, слушая вой собак и рев быка на опустевшем пожарище, он вспомнил свою давнюю любовь, что камнем канула в омут его души.

Со спины что-то грохнуло. Шляпа сеновала, державшаяся бог знает как и на чем, упала наземь, тучей подняв пыль и мусор и бабахнув при этом, будто бомба разорвалась.

– У, мать твою перемать! – в сердцах ругнулся кто-то в той стороне, и некая фигура, будто призрак, порядком, впрочем, запыленный и зашуганный, нарисовался перед Калынханом.

– О! Ты-то что делаешь здесь?!

Котыин своей собственной персоной, собрав всю пыль и весь мусор сеновала, громко высморкался и, задрал нос, будто его обуяла гордыня, посмотрел снизу вверх на Калынхана. Ну, особой гордыни там не было, просто был маленький рост, и коротышка невольно компенсировал деланной важностью свой физический недостаток. Важность и его осанка говорили как бы о том, что все семь дней он как бы не тушил пожар, не находился в дыму и копоти, а пребывал в высоких эмпиреях и вот сейчас с небес спустился на грешную землю, о чем и возвестила рухнувшая шапка сеновала.

– Мир праху его! – и Котыин смахнул с бровей и ресниц пыль и копоть, что покрывали лицо его словно маска. – Пусть земля ему будет пухом.

Надо понимать, что так он выразил соболезнование Калынхану по поводу смерти отца. Хотя ведь мог бы прийти на похороны, бросить горсть земли в могилу. По-родственному, так сказать. Ну да Бог ему судья.

– Где люди?

– Переехали, где ж им быть! Половину Сигат перевез в Аксу, остальные на той стороне, в деревне Печи.

И впрямь, с той стороны доносились голоса, а порой слышался смех. Ба! А вот и треньканье балалайки и следом – частушка, похабнее не придумаешь. Очень кстати!..

– Тут кроме тебя начальство есть?

– А как же. Начальство есть везде. Я-то команду трактором. Мне тут надо закопать... чтобы заразы не было... чтобы собаки не взбесились.

Кого закопать, какой заразы чтобы не было, и почему собаки могут взбеситься? На эти могущие возникнуть вопросы Котыин ответа давать не спешил. Только теперь Калынхан заметил урчавший трактор «Беларусь», что как жираф поднял свой ковш у коровника, причем жираф испуганный, потому как перед ним лежала расхристанная опустевшая деревня. И тут без разъяснения стало понятно, что жирафу тому надо собирать мертвечину и закопать поглубже. От греха подальше, чтобы не было никакой беды.

Помощник Котыина спал в кабине мертвецким сном. Не разбудишь, хоть из пушки пали. И то хорошо: у человека, что спит, не мучаясь бессонницей, одной печалью меньше. Хотя Калынхану помощник не понравился, но будить его не стал. Пусть спит, сил набирается... Ну, а поскольку кроме этих двух громил, оседлавших трактор, тут никого нет, Калынхан направился на ту сторону реки, в деревню Печи.

Бетонный мост через Бухтарму тряся, будто от злости. Трясла его, понятное дело, Бухтарма. Ее черная спина вздыбилась как дракон, который решил расколоть надвое черную же скалу, что выпятилась посреди реки. Черная скала была ориентиром, по которому Калынхан пытался теперь определить, где же была переправа парома на тросах.

Из ущелья дул пронизывающий ветер, он норовил сорвать шапку с головы, а зазеваешься – с ног собьет, чего доброго. Калынхан засмотрелся на реку и уже не мог понять: то ли ветер, а может встречу течению и ветру, взрезая воду, несет сам мост, будто весь мир в тряске и грохоте переключивается в другое место. Калынхан невольно ухватился за перила: от всей этой свистопляски даже у него, бывалого летчика, кругом пошла голова.

К мосту разогнался было автобус по борту с ярко-синей полосой, но напуганный, как видно, грозным ревом и клекотом Бухтармы, резко затормозил у въезда на мост и дальше не пошел. Люди, вышедшие из автобуса, будто их кипятком ошпарило, кинулись врассыпную, как тараканы, ей-богу. Когда-то здесь был маленький хуторок, где жизнь текла неспешно и размеренно, где люди не знали суеты и были рады гостю ли, страннику. Здесь был перевалочный пункт, стоянка после долгого пути, желанное место отдыха. И название у хутора было домашнее, теплое – Печи. Название-то Печи осталось, да видно, печи в домах теперь уж другие, не греют, и люди забыли свою былую приветливость. Сколько их мимо прошло по мосту, и молодых, и старых? Хоть бы один кивнул мимоходом, поприветствовал – голова, поди, не отвалилась бы. А ведь его, директора аэропорта, здесь каждая собака знает. Он вглядывался в берега, в течение реки, искал следы парома, который был здешней достопримечательностью четверть века назад. А мимо него топали кирзовые сапоги, цокали туфельки, шаркали ичиги в калошах.

– Чей ты, бедолага? Чего тут ищешь? – спросил пожульканный старик, похожий на собаку-ищейку, причем подслеповатую и, наверное, лишнюю нюха.

– Чего ишу? Вчерашний день.

Не глянулся ему старик, скупой был, псина, даже не расщедрился на самое простое «здравствуй».

- То-то я гляжу, ты пялишься в глубь Бухтармы, будто чего уронил туда.
- Что – можете достать?
- Смотря чего уронил. Иной раз лучше пусть ко дну идет с концами.
- Вы можете прочитать суру Корана?

– Это еще зачем? Да и не учен я такой премудрости!.. – невольно ответил старик.

Нет, не нравился Калынхану старикашка, одетый хуже нищего, невымытый, поди, с прошлого века, и хоть он дожил до весьма почтенных лет, но ведь ни тени благородства ни в облике, ни в голосе, ни в глазах. Какие там суры Корана! Этот непотребный рот даже путная ругань, наверно, стороной обходит.

– Аллах с ним, с Кораном. Ты ответь мне лучше, куда здешняя лесопилка переехала?

- К Аллаху, куда же еще! – Калынхан указал пальцем в небо. – Туда.
- Это как же понимать? – старик остался недоволен ответом. – Ты говори, да не заговаривайся.
- Я, по-моему, внятно сказал: к Аллаху она переехала. Сгорела то есть.

– Как это – сгорела? Не могла она сгореть, не имела права. Мне эта псина Абдижапар остался должен кубометр леса, он деньги взял, он... неужто обманул, собака?

Да-а, деловой старик: пришел к погорельцам забрать лес, что они ему задолжали. Тут смерть, тут слезы и горе, а ему должок, пожалуйста, верните. И словно бы тот кубометр тесовых досок не иначе как Калынхан проглотил, Масакбай в раздражении крайнем обошел вокруг него разок-другой, постоял в оцепенении, внюхиваясь в обе стороны моста – откуда сильнее горелым тянет? Поняв, что в Корбихе ему делать нечего, сплюнул смачно в Бухтарму – надо же, слюны не пожалел! – и направил стопы свои в сторону вечерних дымов Печей. Вопреки летней жаре, на нем была драная ватная шапка, причем вата из нее лезла ключьями как бы в испуге и отвращении от пакостных мыслей старика и от стойкого запаха пота, который он источал. Такое вот двуногое страшной пожара. Пожар можно остановить, потушив, а этого не остановишь. Впрочем, стоит ли печалиться об этих Печах? В доме в прямь другие печи, другие люди, другая жизнь...

Когда-то Печи были маленьким селением у переправы, где проезжие находили отдых, ужин и ночлег. Конечно, старый паром не стоял здесь круглый год на приколе. Весной, в половодье, его забирали отсюда, а осенью, когда вода спадала, он исправно торчал на месте. Хотя война всё спутала-смешала: и снег падал не по-людски, и вода вела себя по-дурному. Было дело, в какой-то год даже бурлящая Бухтарма унялась-успокоилась, старый паром исчез с переправы, и не просто исчез, а сгинул – и сгинул насовсем. Что-то с ним случилось, и надо б его отремонтировать, руки мужицкие к нему приложить, но ни рук мужицких, ни самих мужиков в ту пору не было, вместо парома на вахту заступила маленькая черная лодчонка. Бухтарма – она, конечно, разная бывает: мелкая и глубокая, бурная и спокойная, опасная и не очень, но какая бы она ни была, а с наступлением июля народ ломил на тот берег – траву косить, стога ставить. Ну а к осени, понятное дело, перебирались обратно. Кто косил в военную пору, кто стога метал? Бабы да девки, старики да старухи. И подростки, это уж главные были работнички,

кормильцы, можно сказать. Так вот, чтобы эти кормильцы не разбежались кто куда по аулам, единственную ту лодчонку у переправы на берег вытаскивали и на всё лето на берегу оставляли. Лодка, нетрудно смекнуть, рассыхалась. А между тем ей предстояла большая работа по осени. Когда жара шла на спад, когда ночами всходили над горизонтом Плеяды, а утром падал первый иней и поля созревали, народ возвращался с укосов, чтобы убрать урожай. Загорелые обветренные лица, облупившиеся носы, руки и ноги в цыпках, и тощие зады отсижены на тощих же спинах быков. Возвращались в родные аулы сироты-добытчики, кормильцы. Они возвращались, будто из похода. И здесь, у переправы, их ждали: колхоз ради такого случая жертвовал овечку, и на костре стоял казан, в нем варилось угощение. Смягчались лица, теплели сердца, и уже не такими грубыми казались на руках мозоли. А потом наступал черед той самой черной раскошей лодки. В нее садились наперегонки, отталкивая и тесня друг друга. Лодка была ненадежной, не всю поклажу целой и невредимой могла она доставить на противоположный берег... Те молодые, восемнадцатилетние, что пали смертью храбрых на поле брани, останутся героями в народной памяти. А сохранила ли память народная тех молодых, безусых, что умерли в тылу глубоко от непосильной работы?

У Бухтармы такой норов: до обеда она течет, смеясь, после обеда – хмурясь. Однако здесь произошло все это. Ну да, у этой вот черной скалы. Стоит, проклятая, середь реки, рассекая ее надвое. Подумать только, Бухтарма, проглотившая уйму паромов, лодок и мостов, не смогла одолеть черный камень, встал он у нее поперек глотки, грозя бедой и погибелью... А случилось это на исходе августа, когда вода уже дышала осенью, была холодной – наверное, очень холодной. Багила посадила в лодку десять подростков, десять сирот, и доплыла она именно досюда... Здесь случилось непоправимое. Пацанов-то она спасла, а сама погибла, и памятью о ней стоит вот эта черная скала, могилой же ей стала река. Бедный паромщик до кончины своей бродил берегами реки, искал тело дочери. Какое там! Бухтарма не любит сантиментов. Все пришли в ужас, бабы да девки пошумели-покудахтали, а чем они могли утешить старика? Ну да ладно, с них какой спрос, если даже сегодня так называемые аксакалы, вроде этого высохшего старика, что ищет доски со сгоревшей лесопилки, если даже они, многомудрые, не могут имя Багилы помянуть в молитвах по усопшим... Она погибла в восемнадцать лет. А ведь могла бы выплыть, могла бы спастись. Но тогда погибли бы десять пацанов, которых она спасла. А десять тогдашних пацанов сегодня – это десять семей, десять дворов, да в каждом дворе пяток ребятишек. Это ж выходит целых пятьдесят человек! А среди них, поди, табунщики и охотники, певцы и жнецы, начальники и исполнители, старатели и писатели... Багила погибла в восемнадцать лет, но завещала жизнь целому аулу. А он, Калынхан, не может оплатить ей свой долг. И до сих пор в вечерних летних сумерках всё видится ему девичья фигурка, что тает за поворотом дороги, и краешек белесого неба кажется лоскутом ее платья...

Из ущелья потянуло холодом. Цвет воды изменился. Бухтарма теперь и впрямь оправдывала свое название: гривастые черные волны как нечистая сила бились о черную скалу, желая ее сокрушить, и от буйства и злости реки дрожала машина бетонного моста. И снова в голове всё сместилось от этого неистовства и грохота: то ли река стремительно бежит, то ли мост по ней мчит как оглашенный, то ли взбесились берега и понеслись во всю прыть, обезумев. А мимо Калынхана по мосту неуклюже бежали бабы и парни, и хоть бы кто из них догадался кивнуть

ему мимоходом: привет, мол, начальник аэропорта. Нет, их «здратьте!» съели собаки, голодные псы-погорельцы. Жизнь утратила теплоту и душевность, и хоть по-прежнему топятся печи в Печах, да только тепло их не греет. И Калынхан, в который уж раз поискав тоскующим взглядом манящий призрак дочери паромщика и не найдя его, вернулся восвояси.

Экскаватор Котыина, поблескивая фарами, по-прежнему урчал, грыз ковшом землю, и казалось, что кроме этого рычащего динозавра, что роет могилу сгоревшей Корбихе, здесь нет ни души. Помощник Котыина всё так же спал, неловко лежа в кабине. Калынхан по радиации нашел аэропорт. Там, слава Богу, всё было в порядке. Вечно голодный и вечно жующий радист сонным голосом, но не переставая жевать, сообщил ему номер очередного прибывшего и убывающего рейса.

Выхватывая светом фар трубы пожарища, к мосту подъехал ЗИЛ. Его кабина и кузов были словно облеплены мухами, целый рой чумазой малышни доставила машина. А за машиной шло кочевье баб, породивших тот рой: в кузов бабы не уместились. И в том кочевье мельтешили два с половиной мужика – это если считать вместе с дедом Осипом. Сигат сник в неделю, как баллон, из которого выпустили воздух. Одежда на нем как с чужого плеча, и лицо вроде этой одежды – мятое, жухлое. А рядом с ним Абдижапар, у которого три волосины всегда были зализаны да зачесаны скобочкой, чтоб прикрыть неуместную лысину, а тут его чуб непокорный висел бесхозно у воротника, будто хозяину того чуба пришлось бодаться с печными трубами сгинувшей Корбихи. Да брови деда Осипа, они белее белого, а кошачьи глаза его, что горели всегда огоньками такси, потускнели, повыщвели, и голова трясется, и сам он как сухостоина, того и гляди в труху рассыпется.

– Вот оно, паря, последнее наше добро – эти вот голышата-мышата, – кивнул он на кузов машины, облепленный детьми.

Разделение труда на пожаре было таким: мужики, все как есть, боролись с огнем, а бабы спасали не барахло, не одежонку, которой кот наплакал, и даже не разбединственных своих коровенок – они спасали детей. Может, и впрямь дети были тем богатством, что удалось собрать в Корбихе за те два века, что она стоит у Бухтармы... Кто-то из детей захныкал, кто-то из баб запричитал.

– А ну – цыц! – прикрикнул старик. – Не разводите мокроту.

– У-у, строгий какой, спасу нет, – потеснила его старуха с выступающим подбородком и пригвоздила напрочь, чтоб не рыпался. – Петух плешивый.

Она, решительно оттолкнув старика, протиснулась к машине и, желая забраться в кузов, задрала было ногу, чтобы поставить на колесо, но запуталась в своем необъятном сарафане. Старик оступился, едва не упал и опять, как драный коршун, налетел на старуху:

– Тебе бы только полаяться да поскандальить. Как же, как же! Где Марфа, там и дым коромыслом. Ты и в гробу, поди, будешь лежать – ногой дергать.

– А чего ты меня хоронишь до срока? Я, может, замуж еще собралась!

– Было б с чем. У тебя там давно все отсохло.

– А ты под юбку загляни. Да только не ослепни, сам увидишь, отсохло или расцвело по-новой.

Она всё же взгромоздилась в кузов и лишь там умолкла. Но, как говорят, дурной пример заразителен, и вслед за ней в кузов, который был и без того переполнен, хлынули бабы. Машина лишь постанывала бортами и рессорами.

Калынхан, сжалившись над детьми, загрузил ими свою «стрекозу» под завязку. Заодно хотел прихватить и деда Осипа, но тот заартачился:

– Меня пока еще ноги носят. Чего я там потерял? Разве что сверху глянуть на пепелище, так радости мало.

И дед не смог сдержать слез.

Абдижапар, хоть никто его и не зазывал, с такой поспешностью ринулся к вертолету, будто стоит помедлить минуту, и он навеки вечные останется среди головешек Корбихи. Он так спешил взбежать по лесенке вверх, что долбанулся макушкой о притолоку, не устоял на ногах, упал. А ведь его никто не пожалел при этом, никому даже в голову не пришло узнать – живой он или окочурился. Когда «стрекоза» отжужжала и скрылась за голыми холмами пожарища, дед Осип горько вздохнул:

– Вот и всё!..

Это безысходное «вот и всё» резануло по сердцу стоящего рядом Сигата, к нему будто приставили вплотную непотухшую головешку. Как-то теперь сложится жизнь погорельцев? Ни кола, ни двора, ни сбережений, спрятанных на черный день. Страховка? А кто ж из них знает, что это такое!.. Жили они одним днем, иначе жить не умели. Кто в чем был, в том и остался. Кто о них позаботится, кто им поможет? Сигат собрал их, отправил в Аксу – не под чье-нибудь, под свое крыло отправил. И теперь, когда дело сделано, страх схватил его за горло. сумеет ли он их прокормить, разместить, обустроить? Ну, с голоду они, положим, не помрут, он думал не об этом. Он думал о том, что людей не может не унижать нищенское существование, что человеку для нормальной жизни нужна уверенность в завтрашнем дне – лишь тогда он выдержит любые трудности сегодня.

– Говорят, подлецу всё к лицу. А сел за стол подлец, ему – ни воды, ни щец, – и дед Осип пригорюнился. – Горе, что море: ни переплыть, ни вылакать.

Занятый своими тоже невеселыми мыслями, Сигат не стал уточнять, кого дед Осип определил в подлецы, а самому деду Осипу было не до разъяснений. Ведь он на что рассчитывал, когда, бросив старуху, потащил сюда свои кости? Ну, уж во всяком случае не на то, что встретит здесь пожар. Он, конечно, знал, что скоро предстанет перед Богом, но до кончины своей хотелось ему походить по родной и желанной земле, речи послушать своих земляков, разделить с ними и кров, и хлеб-соль. И чтоб, когда он помрет, похоронили его не пришлые люди, а опять же свой брат – земляк с кержацкой да с таежной закваской, что могилы роет опрятно и глубоко, закапывает в них покойничка основательно, чтобы ничто не потревожило его вековечный покой. Душа его мечтала напоследок испить святой воды Аксу, а вместо этого в горле першит зола Корбихи, на сердце камнем лежит беда всеобщая, и душе свет белый не мил.

Корбиха второй раз горит при Осипе. Опять перед глазами встало детство. Опять всё та же узкая дорога и таратайка на ней с вихляющимися скрипучими колесами. И черные подошвы бабушкиных ног, что торчали из телеги как высохший саксаул. Отец завернул ее в рогожку и закопал на обочине. А ноги в рогожке не умещались, ноги выпирали из рогожи. И Осипу казалось тогда, что даже из могилы те ноги торчат.

– Постой-ка. Однако, здесь, – дед Осип пристально вглядывался в какие-то холмики обочь дороги. – Да, именно здесь. Можно подумать, земли не хватило, чтобы засыпать ее получше. Ноги остались торчать. И пожар тогда случился тоже в год зайца.

Сигат ни о чем не расспрашивал. Он тоже бродил дорогами памяти, но только в других местах. Он лишь сказал:

– Кое-кого похоронить-то не смогли.

Кого, почему не смогли? Дед Осип тоже не стал расспрашивать. Они шли рядом и думали о горе, и беде, но душа деда Осипа корчилась в синих домах Корбихи, а память Сигата заплутала в блокадном Ленинграде. Дед Осип как бы воочию видел то, что должно бы поблекнуть в стариковской памяти за семьдесят прожитых лет, а видишь ты, не поблекло, не стерлось. Хутор, задохнувшийся в синем дыму. Пламя, бурлившее, как волны, что низвергались с деревьев, будто огненный сель. Синепузые мальчишки в слезах и копоти, они жадно жуют обгорелые колосья ячменя, и вкус тех горьких зерен до сих пор наполняет рот деда Осипа вязкой слюной. И взрослые детям под стать воровато выкапывают водянистую неспелую картошку в огородах, брошенных на произвол судьбы. Сигату же виделась белая пурга, что страшнее огня, снег вперемешку со свинцом, и словно запеленатые в белую метель люди, не поймешь – живые ли мертвые? Вереницы машин без конца и края, и дети-сироты, они грызут картошку в мундире, ее прихватило морозом, она как лед, к ней рука примерзнет.

– А бабушка нам всё сказку сказывала, – гнул свое дед Осип. – Есть, мол, на свете земля заветная, обетованная. Леса полны зверей, воткни оглоблю в землю, оглобля зацветет, заплодоносит. Мужчины в той земле провидцы, а женщины мудрые. И люди те лишь перед Богом ответчики, а власть земная, царская им не указ... Такая вот сказка была у нашей бабушки. И ведь померла она в земле обетованной – тут, обочь дороги померла. Но земли не хватило, чтоб засыпать получше.

– А кое-кого и похоронить-то не смогли...

...потому что пули косили их на Ладожском льду, они так и не дошли до Большой Земли и лежали, пристывшие к торосам, их просто сбрасывали в воду Ладоги, озеро служило им братской могилой. Вчерашний доцент Лесной академии лейтенант Сигат Саканин целый год – ночь ли, день ли – возил людей и грузы по «дороге жизни». Везли в Ленинград продукты, вывозили детей, чтобы не дать им умереть с голоду, спасти для будущей жизни. Лейтенант Сапанин, в недавнем прошлом директор лесхоза, сбежавший в тридцать седьмом от есимханов, «укрылся» в Ленинграде, спасая город от коричневой чумы вплоть до его освобождения в сорок третьем. Домой он вернулся через семь лет...

Погоня теленка, привязанного к хвосту рыжей коровы, навстречу им вышли две женщины. Одна из них была Саркыт, Сигат узнал ее сразу: хоть и в годах была, но не поддалась им – держалась прямо, была не по-старушечьи статной, да и лицо не тронута морщинами. Ну и, конечно, энергии ее могли позавидовать молодые. А все потому, что не довелось рожать, не было у нее детей, оттого и сохранилась вопреки годам, думал Сигат. Второй была Мария, сверстница Саркыт, она тащила корову за рога, не давая ей воли в кусты сигануть. Она как выдала дочь замуж, тоже совсем одна осталась. Среди мужиков ровни нет, а те, что есть, при семье да при детях. Женщиной была она видной, в теле и, как говорят, еще в соку, могла обогреть-обиходить бобыля какого-нибудь, да и не только бобыля. Необъятный сарафан свой, чтоб не путался под ногами, заправила в брюки, но, увидев мужчин, выпустила его на волю, чтоб соответствовать своему женскому статусу. Одна из них вчерашний, значит, председатель аулсовета, другая – секретарь. Одна из них несла самовар, другая – в рамке, под стеклом, большую фотографию солдата.

– Всё с ним расстаться не можешь?

– А как же, Митрич?.. Из пожарища он не вернулся, что ж его, на пожаре бросать? Вот и молюсь на него. Глядишь, раз в году и приснится.

Напряжение последней недели едва ли чем уступало горячке на войне, и здесь весьма кстати было суровое лицо усатого солдата со «шпагиным» на груди, а за его спиной виднелся развороченный, завалившийся на бок «тигр». Четверть века пролетело между той минутой, когда была сделана эта фотография, и нынешним днем, но события минувшей недели как бы сместили временные рамки, и солдат словно бы шагнул из военной години в горестный сегодняшней день, чтобы встать на защиту отчего дома, попавшего в беду, помочь вдовам и детям выдюжить перед лихом. Люди жили по заимкам, по закоулкам или отгородившись заборами, но пожар как бы их породнил, и каждый кинулся спасать не свое кровное добро – каждый в первую очередь кинулся тушить пожар у соседа, а уж потом вспоминал о себе. На заре туманной юности эти две женщины спали на голом полу конторы, делили поровну хлеба краюшку и глоток воды. Потом жизнь развела их, разлучила, и не виделись они, поди, лет двадцать пять, хоть и аулы были недалече. Но пробил час беды, и опять они, считай, в одной упряжке – опять, забыв о себе, всю неделю хлопотали о людях: кого-то утешали, кого-то ободряли, и всем помогали перебираться с остатками скарба в Аксу. Теленок урысил, артачился. Аж вспотел, но Саркыт, жалеючи его, не била, а лишь подталкивала боком, вынуждая не стоять на месте. Видно было, что она выбилась из сил.

– А в телеге чего не отправили этого неслуха? – дед Осип ткнул в пах красного теленка.

– Дак она, окаянная, корова эта, без теленка и шагу не сделает.

– А кто виноват? Надо было вовремя свести с бугаем.

– Я, может, и свела бы ее с бугаем, но я сама ее в глаза впервые вижу. Кто хозяин, бог весть, – Мария с силой дернула за рог корову. – И бросить жалко – одичает, зараза, в тайге, и сил нет никаких тащить.

– То-то, я думаю, откуда у нее скотина взялась?

– Какая там скотина! Была б вода в Бухтарме и Аксу, мы с Саркыт проживем у этого самовара. Под крышу б только какую-нибудь спрятаться.

– Уж вам ли сетовать! Да у вас вся власть была в руках. Неужто таких, как вы, да оставят на улице?

– С него может статья! – покосилась Мария на Сигата. – Он меня смолоду за версту обходил – боялся, женю на себе. Посмотрим, как теперь облагодетельствует – меня да вот эту молодку, – и она шаловливо ткнула в бок Саркыт.

А та вдруг вспыхнула, как маков цвет:

– Тебя кто за язык дергает, что ли? Тоже, шуточки...

– А что? – заартачилась Мария. – Тебе, поди, тоже зябко спать одной под одеялом?

– Во дает, а! Пока мы эту бабенку не сбавим за какого-нибудь деда, не видать нам покоя! – Саркыт сама пошла ва-банк, спасаясь от шуток Марии. – Возьмем одного на двоих. Тогда и крыша над головой будет, и с голоду не помрем.

– Ну-у, подавай им деда. Разве что этого, с фотографии, оживить, – горько откликнулся Сигат. Шутить у него не было сил. – Ты лучше вот что, комендант, скажи: как у нас с расселением – получается что или нет?

– Ишь ты! Я уже и комендант, – Саркыт, сунув одну из ручек самовара Сигату, разок крутанула теленку хвост. – Все твои три коттеджа и общежитие полны под завязку. Оставшихся распихала по домам одиноких старух. Годится, нет? А то разжалуй из комендантов.

– Уж немало. Это, значит, вклад нашего лесхоза. А что делает совхоз?

– Ничего не делает. Ты что – Кабылхана не знаешь? Сидит, ждет указаний сверху. А эти, которые сверху, приехали на машинах – каждый на персональной! Посмотрели, помолчали. И уехали.

– Что делать? Тоже ждут указаний.

– Дак указаниями сыт не будешь! Людей-то надо кормить. А чем их накормят одинокие бабки, которые сами впроголодь живут?

– Не бойся, комендант, не бойся! Были времена похуже, а парни все одно за девками бегали. – Сигат похлопал Саркыт по плечу. – Всегда найдется какой-нибудь выход.

Саркыт он успокоил. А как успокоить себя? Народ – он, конечно, двуличный, он все перенесет, все выдюжит, и жить будет дальше. Эх, этому народу да другую бы долю, чтобы поменьше было крови да мучений. Но где ее взять, другую долю, коли выпала эта – горькая, одна на всех.

Тайгу окутали сумерки, и по тайге прошелся ветер. Синий дым, что окутал вершины деревьев, потянулся из ущелья, поднимаясь по склонам гор, и запах древесной смолы, от которого першило в горле и спирало дыхание, стал слабее, отступил под натиском ветра. Но раскаркалось воронье, сторожившее брошенные селенья. Вороны кишмя кишели на деревьях, обступивших дорогу.

Мария выбилась из сил, таща за собой корову, она готова была разрыдаться от усталости и в надежде оглядывалась вокруг, а ну как кто поможет или появится спасительная телега, к которой можно было бы привязать упрямую корову. Но телеги не было.

– Ты, девка, прохудилась, что ли? – дед Осип прибег к спасительной издевке.

– Вот-вот, расчувствовалась я: уж замуж невтерпеж. Сама б я не заметила. Спасибо, Саркыт подсказала.

– А что – выходи. Тебе сколько? Всего шестьдесят. Ты же молодка еще! Вишь, слезы не все выплакала.

– Да я-то ладно. Мне за Саркыт обидно. Опять она в девках останется.

А Сигат ее слезы воспринял всерьез, как знак безвыходности и отчаяния. Он не мог не бездействовать, ему край как надо было руководить, он выхода искал из тупиков:

– Товарищ комендант! Ты мне две комнаты в общежитии не предоставишь?

– Нет, ты глянь на него: ему надо две комнаты! – возмутилась Саркыт. – А медпункт на что? Там тоже две комнаты, одну оставь для Меруерт, другой вам хватит на троих.

– Тогда в моем доме собери всех детей дошкольного возраста, пусть это будет детский сад. Надо повара подыскать и воспитателя. Если мы это дело затеем, рай-исполкому деваться будет некуда, и он будет вынужден взвалить на себя это дело.

– Бог с ними, с детьми. Со взрослыми что будем делать?

– Значит, дети – Бог с ними?.. – он чуть было не сказал ей обидное и резкое, мол, родила б сама, помучилась, не так запела бы, но вовремя сдержался. – Ладно, зиму как-нибудь перебежмся. В тесноте да не в обиде. Были б дети сыты да

присмотрены. А большего нам и дать-то им нечего. Сами нищие телом и духом, и детей обрекаем на нищету. Доколе, Господи?! – и не в силах совладать с волнением, Сигат вернул самовар в безраздельное владение Саркыт, будто в том самоваре было средоточие всех несчастий. Она заметила при этом, что холеные тонкие пальцы серэ огрубели, а ладони стали шершавыми и холодными, как лед. Да и в глазах сквозил усталый холод.

– Что-то я не совсем тебя понимаю. Нищие телом, нищие духом... – слова Сигата, видно, задели Саркыт за живое. – Все мы выросли на постной казенной похлебке. Ну и что с того? Войну мы осилили и после войны устояли. И сейчас ноша у нас разве легче? А живем мы всё на той же казенной похлебке. Что ж нам ее – проклинать?

– Но и не благоговеть перед ней! Почему все наши помыслы – лишь вокруг куска хлеба? Что за горе такое нескончаемое?!

– Ну-у, серэ... Ты просто устал. Отдохни. Эй, подруга! – окликнула Саркыт Марию. – Куда ты гонишь? Поубавь-ка прыть.

Мария тотчас отбросила веревку, за которую тащила корову, и села на пенек обочь дороги, прислонив к ноге портрет ефрейтора:

– Ты тоже, муженек, отдохни, а то я уморилась тащить тебя на плече, – и тяжело вздохнула. – А не помер бы ты, мы шли бы сейчас с тобой по этой дороге и что делали бы? Гавкались.

Она втокнула красного теленка под корову, но теленок заупрямился, вымя брать не стал.

– Вот говнюк, а! – и на теленке выместила всё раздражение, которое не могла выдать ефрейтору. Но тут очень кстати подоспел дед Осип. – А ты что стоишь? Во всей тайге пня не можешь найти, чтоб подпереть свой зад?

Она встала с пенька.

– Садись. Тоже мне... деятель. Свою жопу пристроить не может.

Но дед Осип будто и в самом деле явился сюда в поисках именно этого пня. Он было сел, но тут же вскочил, будто ему задницу углями прижгло:

– Это ж надо, какая горячая баба. Пень, и тот дымится после нее, – он смахнул с пенька мусор и подытожил: – Надо, надо выдать замуж эту чертову девку. Вишь, жар до сих пор ее распирает.

А она не стала возражать:

– Только пню и осталось отдаться.

Дед Осип не думал состязаться в остроловии с бабами, они отбрить могли любого – хоть на казахском языке, хоть на русском. В ту минуту ему показалось, что они уже целую вечность идут вчетвером по той таежной дороге, которой нет конца и края, они уже осточертели друг другу, но деться друг от друга некуда, и чтоб хоть как-то разрядить обстановку, он решил пошутить – позабавить спутников. Шутка, видать, получилась не ахти какая, и дед, как суслик, увидевший ястреба, затаился на дне, затаих. Луна, родившаяся в сумерках, висела на ветке сосны как диковинный плод. И тут из этих самых сумерек выскочил «Беларусь», все ахнули от неожиданности, а Саркыт с Марусей были рады, будто их догнала карета.

– Слава Богу, что есть Котыин! – сказала Саркыт. – Мы тут философию разводим, кто нищ духом, а кто богат, да сравниваем, что вкуснее: госпохlebка или пустые казенные щи, а он себе крутит баранку и вкалывает. И каждому готов

прийти на помощь, добрая душа. Не рассуждая, не требуя награды, за одно лишь «спасибо». Такие вот, как Котыин, многих посадили на коня, многих вывели в люди. Где они теперь, наши славные родичи? В городах окопались, посты занимают. Кто-нибудь из них приехал, чтобы нам помочь в беде, когда мы в дому задыхаемся, на пепелище сидим?.. А-а, нет их, богатых духом. А этот вот, гол как сокол, в штанах с протертой задницей, нищий духом и телом, он ведь наш ангел-спаситель. Что-то не вижу я рядом с собой спасителей нации и отечества. А вижу двух старух-развалюх да старика, он неровен час ноги протянет. И сам ты в одной упряжке с нами как старая кляча...

Из кабины трактора, что, задрав лопату и волоча ковш, на всех парах несся по дороге, выглянул Котыин. То есть вначале появились его жующие щеки, в руке он держал здоровенный огурец, и, поскольку рот его был занят, он промычал что-то невразумительное вместо приветствия и надкушенным огурцом указал на «телегу», прицепленную к трактору. Подбирал он всё вплоть до подковы – в хозяйстве сгодится! – и тут не удержался, прихватил бесхозный прицеп со спущенными шинами. Ну, а уж когда он загрузил его несколькими бревнами и дюжиной каких-то брикетов, колеса прицепа и вовсе наполовину ушли в грунт.

– У этой железки колеса какие-то квадратные, – выразил несогласие садиться на «тачку» дед Осип. – Доедет ли до Аксу? Как бы не перевернулась...

Старик гнул свою линию, он метил в кабину, но виду не показывал. Котыин загрузил теленка в прицеп, туда же посадил старух, корову за веревку привязали сзади, пусть вспомнит молодость, пробежит версту-другую. И лишь когда, вихляя, трактор тронулся с места, Сигат увидел в кабине рядом с Котыином мелькающий затылок старика. И вправду, слава Богу, есть Котыин, он подберет в дороге всё, что надо и не надо!..

Нет, видно мне до кончины моей не уйти, не оторваться от проклятой бедности, думал Сигат. Это как старый зипун – в одном месте залатал, в другом порвалось. Говорят, расстояние между изобилием и нищетой с вершок. Но даже те, кто расстояние это измерил, едва ли рукой пощупали эту неуловимую вещь, что зовется богатством... Око видит, да зуб неймет. Может богатство – это миф и лишь в помыслах наших возможно? Не зря отец говаривал: «Бедный думками богатеет». Так рассуди же сам: оттуда взяться богатству народному, если каждый в отдельности нищ? Начальство твердит в общем благе, о каком-то большом казане добра, одном на всех, да только толкуются у того казана немногие, лишь те, кто взобрался повыше и мнит себя богачом над теми, кто ниже. Ах, как он ненавидел их за лицемерие, за демагогию и ложь!..

Он остался один на таежной дороге. Котыин не предложил сесть на трактор, сам он тоже не напросился. Так и стоял в обнимку с самоваром и словно бы продолжал свой спор с уехавшей Саркыт. Он видел ее глаза перед собой, внимательные, строгие. И горошинка родинки на щеке, как слеза, сорвавшаяся только что с ресниц. И вспомнился ему тридцатый год...

...Люди в поисках куска хлеба и заработка, хлынувшие кто поближе в Коктас, кто подальше – в Семей, столпились, сгрудились на пристани Кызылжара. Раз в неделю между Карагайлами и пристанью появлялась крытая почтовая повозка – вот и весь транспорт, и выбраться отсюда можно было лишь Черным Иртышем. Было начало мая, и не пришел еще сезон парходика с хлопающими лопастями, который должен увезти всех этих людей в их светлый завтрашний день, и билет

на тот пароход был как путевка в рай, где нет голода и нищеты. Старик со впавшими глазами пытался отвоевать чайник кипятку из общего самовара, но, увидев Сигата, ухватил его за штанину, бросив свой чайник:

– Карагым, не стану спрашивать, кто ты, и так видно, прошу тебя, забери с собой мою дочь, – он вытолкнул вперед себя девочку-подростка. – Потеряется – не спрошу, где она, умрет – ее везенье, живой останется – Аллах тебе скажет спасибо. Было их три у меня, три дочери, одна осталась. Мать оставила нас, смежила очи. Да и я, видишь сам, не жилец.

И вправду, видно было, старик долго не протянет.

– А как умру, какая-нибудь собака поглумится над ней, надругается. Я знал отца твоего, пусть дух его будет доволен. Забери мою дочь.

И старик, вытащив из-за пазухи узелок и кусок серебра, стал совать их Сигату:

– Сбылись слова Пророка: пшеница и ячмень – еда, а золото да серебро всего лишь камни. Возьми, пригодится.

Сигата передернуло, будто он собрался ограбить несчастного. Он сунул серебро назад в дрожащие стариковские руки, а сам повернулся к девочке. Была она, конечно, худовата, но красоты ее хватило бы для целого аула. Толстую косу она спрятала под атласный чапан, а на лоб низко надвинула уже повылезший норковый борик, но эти ухищрения никак не убавили притягательной силы ее милого девичьего лица. Да на щеке родинка с горошину, будто слезинка, что скатилась с ресниц ее черных, как сливы, глаз.

Она глянула на Сигата и круто повернулась к отцу:

– От вас никуда не пойду!

Ну кто бы мог подумать, что в той недотроге столько характера и огня! А старик оробел, тоскливо посмотрел на противоположный недосыгаемый для него берег реки, голова старика подрагивала от немощи и безысходности, и борик из беличьих лапок съехал ему на затылок, а потом и вовсе упал с головы, будто голова не в силах была выдержать тяжесть легчайшего головного убора.

– Я хочу, чтоб ты выжила. Слышишь? Сделай так, чтоб одним сожалением у меня было меньше, когда я умру, – он подтолкнул ее к Сигату. – Иди, Саркыт... иди.

Осторожный старик, сославшийся на дух отца Сигата, не посмел назваться по имени – слишком много было подслушивающих ушей! – но Сигат понял, что он один из немногих почитаемых старцев вчерашнего Каратая.

– Дядечка, куда вы меня ведете?

– Не знаю. Лишь бы не дать тебе умереть.

– А если не знаете, лучше оставьте. Зачем я вам?

– А что я отцу твоему скажу?

– Перед мертвым никто не отчитывается.

– Не рановато ли тебе о смерти рассуждать?.. И потом, я ведь не только перед самим собой за тебя в ответе. Так что будь добра, голубушка, делай, что я скажу.

– Надеюсь, я не подневольная раба?

– Надейся.

– Тогда у меня просьба...

– Говори.

– Помогите найти мне работу.

– Какую?

– Не знаю. Я кончила русско-туземскую школу Абди. А для несчастной де-вушки это не так-то уж мало.

Еще бы! Такое трудно достижимо и для многих шикарных парней. Сам Сигат был одним из первых выпускников той школы. Но знания сами по себе не заменяют куска хлеба – особенно в такое голодное время...

Ему казалось: вот закончит он Академию лесного хозяйства и сумеет горы свернуть. Тем более, что ему лично вручили постановление Наркомлеса о создании на Алтае лесхоза и леспромхоза. Он должен был их организовать. Но все эти ценные бумаги давали лишь видимость власти. Власть на местах была в руках есимханов – они помыкали людьми, они творили такой произвол, что волосы встали дыбом. А Сигат... что мог поделывать Сигат? Как говорится, «Аяз бий знай свои возможности, а сверчок знай свой шесток» и сверчи на нем, сколько влезет, но больше никуда не суйся. Люди бежали с насиженных мест, бежали от произвола и голода. Чем их удержать и как защитить от есимханов? Сигат поехал в областной центр, в Семипалатинск, он стучался во все сановные двери. У него были и свои предложения, и свой план обустройства людей, но его слушать в упор не хотели. В лучшем случае говорили шепотком: «Ты вот что, парень. Ты по одежке протягивай ножки. А что сверх того, то от лукавого». И он вернулся несолоно хлебавши. Но вернувшись в Карагайлы, не смог жить, «по одежке протягивая ножки», не захотел мириться с произволом. Потому-то и решил организовать лесхоз именно в Аксу, это был единственный выход в его положении.

Вся тягловая сила нового лесхоза – десяток быков с выпирающими ребрами да десяток кляч, что заблудились по дороге к живодеу. Упряжь и прочий инвентарь собирали по крохам в местах покинутых кочевий. Ну, а деньги, их удалось ему все же выбить, стучась в кабинеты, он и не знал, куда определить, так много было дыр, и каждая требовала, чтоб ее заткнули. Единственным спецом в лесхозе был полуграмотный Осип – он был и лесник, и лесничий, и жнец, и кузнец, а сам Сигат по совместительству был у самого себя и кучером, и секретарем-делопроизводителем. Было трудно, конечно, но о себе он никогда не думал, а думал он о людях, о своих подопечных, и люди привыкли, что он о них думает, и как бы ни было трудно, они жались к нему, уверенные в том, что он их выручит и защитит, и в самой безнадежной ситуации с ним не пропадешь. А он порою чувствовал среди людей такое одиночество, будто он один в каменном мешке да на пустынном острове... Он верил, что рожден для крупных дел и высоких полетов, что достиг он только вот этого – стал директором лесхоза, хозяином клочка родной земли в триста тысяч гектаров, и вся та власть, какой он достиг, была в неусыпных заботах о пяти-шести аулах по берегам Аксу и Бухтармы. Всю жизнь он крутился меж ними, как в замкнутом кругу, сам себе наступая на хвост и самого себя уже не отличая от этих бедолаг в медвежьем углу. Вот-вот, Саркыт верно сказала: «И сам ты с одной упряжке с нами, как старая кляча». Саркыт зря не скажет. И Осип зря не промолчит, а промолчал, выходит, согласился, значит, тут она, вся правда-матка, и есть. Нет, он на них не в обиде, он давно с ними сжился-свыкся, и без них, наверное, не сможет жить. Спасибо судьбе, что свела его с Осипом, с этим привередой, он никогда ни у кого не попросит совета, у него у самого не голова, а семь палат, и ни перед кем он не заискивает, и не требует платы за труд, и сам он по себе как автономное государство. Что ни говори, мы с дедом Осипом два сапога пара, два стремени одного седла, два поводка одной уздечки, и нам

кажется, что мы прищпориваем жизнь, а если разобраться – всё наоборот, жизнь нас взнуздала и гонит без устали, и не дает передыху. Они были сами себе и начальством, и подчиненными. Это они перевезли в Аксу обреченные на смерть казахские аулы, просто-напросто подбирали ослабевших от голода людей и везли их поближе к Корбихе да к Печам, в Аксу и в Бекалку, распределяя там по русским семьям: кержаки как-никак выживали, копаясь в земле, разводя сады и огороды. Кержаки, когда-то отдавшие в уплату за эту землю своих детей из люлек, готовы были опять поделиться последним, что у них есть, со своими братьями-казахами: выгребали остатнее зерно в амбарах и овинах, делились нехитрой снедью и давали кров попавшим в беду. Весну тридцать второго года вспоминать сейчас не любят, но в памяти каждого, кто ее пережил, она осталась навечно...

И теперь, десятилетия спустя, опять пришла беда, опять нужна взаимовыручка. Когда-то таскавший на себе ослабевших от голода, сегодня Осип, душа в чем держится, сам телепается в кабине Котыиновского трактора с вихляющим прицепом, уносит свои старые кости с пожарища. Но ведь жив курилка! Он еще и ворчит, недовольный, мол, колеса квадратные у прицепа, не сяду в такой. Ну, а во время оно был рад без памяти телеге, запряженной быками, она ему была как царская карета. Зато сегодня, видишь ты, он даже трактор не очень-то признает. Ну, а то, что когда-то дед Осип скотину пас, сады разводил да поля засеивал, сытно кормил всех, кто был рядом, а сейчас ни садов, ни полей, ни тучной скотины, об этом обо всем не будем вспоминать, всё это похороним в душе Осипа, вроде как оно ему приснилось, вроде как этого и не было вовсе. Но ведь, яз-зви тя корень, было же, было, да сплыло бесследно!..

В тридцать седьмом Аксу уже прочно встало на ноги, в нем, что говорится, жили – не тужили. Но всё чаще и чаще таскали Осипа в райцентр, и каждый раз он вынужден был с глазу на глаз объясняться с Есимханом, и каждый раз он возвращался постаревшим на год, и опускались в безнадее руки, и пропадала всякая охота работать и жить. Это он, Осип Митрич, Христом Богом молил Сигата, чтоб тот исчез поскорее – куда? Всё равно, куда глаза глядят, а то неровен час посадят. И посадили бы, коли б не кинулся Сигат в запредельные дали, чтоб найти – отстоять справедливость. Но видишь ты, уехал ненадолго, а отсутствовал целых семь лет, потому как война прихватила в дороге. Он схоронил в блокадном Ленинграде единственного сына и жену, да и сам едва не сложил голову, уцелел по случайности. Но если уж по справедливости, то лучше рисковать собой на поле боя, чем прятаться в щели от Есимхана. И, вопреки испытаниям и горю, всё, что связано с Ленинградом, с прорывом блокады, окрыляет его горькой памятью. Наверное, тоска по прошлому – примета возраста, когда дорога впереди день ото дня короче, а память о прошлом становится желаннее мыслей о будущем...

Когда через семь лет он вернулся, его встретили вдовы и сироты. Семь лет назад в ту кромешную ночь, когда он тайком бежал из Аксу, рыдающая Саркыт догнала тарантас, увозивший Сигата: «Возвращайся, дядечка! Возвращайтесь...». За эти семь лет она и замуж вышла, и овдовела. Мужиков в Аксу не было. Осип, уставший от бесконечных угроз и непомерных требований есимханов, снимавших вместе с волосами головы, исчез, чтобы избавиться хотя бы так от всех своих проблем разом. Хозяйство вконец развалилось. И он, бобыль с двухлетней Меруерт на руках, взвалил на свои плечи нелегкую ношу... И всё равно, благодарю тебя, жизнь, за то, что ты была и есть, какой бы тяжелой ты ни казалась...

Трактор у Котыина был неказистый, но голосистый, и хоть он давно скрылся из виду, но тарыхтение его разносилось по всей тайге, служа как бы фоном для невеселых мыслей Сигата. Да еще серый бык, оставшийся в Корбихе, вплетал в тоскливое тарыхтенье трактора свой скорбный, на всю округу рев. Пласты синего дыма, душившего тайгу семь дней подряд, мало-помалу таяли, и усталые кроны деревьев погружались в ночные сумерки, заполненные скользкими призрачными тенями и шорохами. Одиночество безжалостно, тем более что спутники его – память, не знающая снисхождения, и мысль, терзающая душу. Рычание трактора и рев быка вновь отбросили Сигата в дни ленинградской блокады, заполненные лязгом танковых гусениц, жевавших камни, воем бомб и сирен, леденящих сердца.

Полжизни осталось там, в блокадном Ленинграде, в те месяцы и дни полдуши как отрезало, и душа до сих пор кровоточит. Боль и утраты, что уместились когда-то в сердце тридцатилетнего человека, теперь не умещались в нем шестидесятилетнем. И он вдруг ощутил такое глухое одиночество, какое не охватывало его даже на заледеневших улицах города на Неве. Там было одиночество, разделенное со многими и, как это ни кощунственно звучит, оно напоминало горький праздник, когда напрочь забываешь о собственной шкуре и сознание сверлит одна лишь отчаянная злая мысль: отомстить врагу – погибнуть, но исполнить долг. Может, здесь истоки героизма? В бою и смерть красна... Но избави Бог остаться одному в рутине мирной жизни, когда во всем винишь себя, и кажется, что ты попал в тоннель, вокруг безысходная темень, и впереди никакого просвета. И до чего же быстротечна жизнь! Ну почему в ней мало обретений и побед, а реестр утрат и поражений тяжел, велик, и в нем ничего не исправишь...

Вечерняя прохлада, всегда спасительная для тайги, ибо очищала воздух, даруя отдых и покой, на этот раз не принесла облегчения. Запах вонючего дыма словно бы вьелся в травы, и ночному ветру не под силу выдоить его. Огни Аксу были далекими, как звезды Млечного пути. И казалось, что они тлеют, как угли на пепелище. Над Аксу тоже стояли хмарь и гарь, как, впрочем, над всем этим краем. Исполосованная протектором трактора колея вконец измотала Сигата. Измученный, усталый, с душой, вконец изболевшей, стоял директор в растерянности на краю аула, будто не мог вспомнить дорогу к собственному очагу.

Окончание следует.

